

А. ВСЕВОЛОВА

•
Впрочем,
неважно

•
Нерасстанное
•



Анна Всеволодова

**Впрочем, неважно.
Нерасстанное (сборник)**

«Алетейя»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Всеволодова А. В.

Впрочем, неважно. Нерасстанное (сборник) / А. В. Всеволодова —
«Алетейя», 2018

ISBN 978-5-907030-60-2

Повести «Впрочем, неважно» и «Нерасстанное» предлагают читателю снова отправиться в XVIII век. Главная героиня первой повести – лицо вымышленное, но вполне характерное для описываемой эпохи, соединяет в себе некоторые черты исторических персонажей. Большинство других героев принадлежат к числу последних. Имена их достойны памяти и благодарности потомков. Пусть сбудется над ними пожелание великого русского писателя С. Т. Аксакова: «Да не оскорбится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким легкомысленным словом».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-907030-60-2

© Всеволодова А. В., 2018
© Алетейя, 2018

Содержание

Впрочем, неважно	6
Предисловие	6
Глава I	7
Глава II	22
Глава III	38
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Анна Всеволодова

Впрочем, неважно

© А. Всеволодова, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

* * *

Впрочем, неважно

Предисловие

Однажды, листая книгу Андрея Никульского «Ее Императорское Высочество Великая Княжна Анастасия Николаевна Романова», я обратила внимание на следующее свидетельство одного из лиц, участников трагических событий.

Он рассказывал, что после отступления большевиков из Екатеринбурга среди вещей ее высочества Анастасии Николаевны было найдено сочинение, которое она начала писать для своего преподавателя английского языка. Тема сочинения – стихотворение Браунглига «Эвелина».

«Девушка по имени Эвелина только что умерла. Она лежала в гробу очень красивая. Все ее вещи остались на своих местах, ничто не изменилось, даже сорванный ею цветок стоял в стакане, но уже начал вянуть. Когда она умерла, ей было шестнадцать лет. Один человек, который никогда ее не видел, но хорошо ее знал, любил ее. Он не мог рассказать ей о своей любви, а теперь она была мертва. Но он все-таки думал, что когда он и она встретятся в будущей жизни, когда бы это не случилось, то...».

Сочинение на тему стихотворения «Эвелина» не было дописано, но лучшего вступления к роману «Впрочем, неважно» трудно желать.

Прежде, чем читатель откроет первую страницу романа, хочу обратиться к нему словами замечательного русского писателя и патриота Лажечникова И. И.: « Попрошу читателя не взыскивать с меня сурпулезно за некоторые незначительные анахронизмы и исторические недомолвки и помнить, что я все-таки пишу роман, хотя и исторический».

А. Всеволодова

Глава I Час X

«Писать о подвигах прошлого не имеет смысла без твердой веры в подвиги будущего».

Военный историк Антон Керсновский, автор книги «История Русской армии»



Бог весть как это всё сделалось. Быть может люди искусства и все такие? Верно я не в праве причислять себя к последним, раз окончил один только год Суриковского училища, но как всё-таки работаю дизайнером... Впрочем, это неважно.

Мне всегда казалось, словно живу чужой жизнью и не терпелось домой – к своим. Словно был в разлуке с любезным отечеством, любезными лицами. Я так выражаюсь потому что мне нравится читать романы, писанные старинным слогом, да, признаться, и самому сочинять оные, кроме того... Впрочем, неважно. Перо отказывается служить, как скоро принуждаю его следить постылые предметы. Так коснусь их вскользь.

Я сидел с Германом в ресторане, что близ нашего ведомства. Герман – врач, очень удачливый в некоторых отношениях. К примеру – пользуется президента, хотя не говорит о том, может и обязан молчать. Думает, я не догадываюсь. Смертельно болен раком, поддерживает себя тем только, что не лечится химией, а какими-то экспериментальными методами. И об этом молчит, думает тоже не догадываюсь. Хоть он всегда много и оживлённо болтает, большой молчун – лишнего ничего не произнесёт. Теперь он не замолкал уже без малого час, но я примечал – на душе у него сквернее обычного.

– Тебя что, вообще ничего кроме твоего проекта не интересует? – раздраженно поинтересовался он.

Я промолчал – мой проект, откровенно говоря, меня тоже не интересовал.

– Вот мы тут сидим, они все, – Герман кивнул на переполненный зал, – сидят, а «те»... Думают я не вижу, что на место меня станет Варельман? А что он сделал?

Я с удивлением взглянул на собеседника – таких откровенностей удостоился впервые, и в таком волнении никогда не видал.

– Что с тобой?

Герман сжал пальцы, что они хрустнули, понизил голос до шёпота:

– Час X близок!

– Что за X такой?

– Черт его знает! Вулкан, комета, вирус, мировая война – не всё ли равно, если всем конец!

– Значит никому не обидно.

Мефистофельский смех, от которого прямо-таки затрясся Герман заставил оглянуться на наш столик всех присутствующих.

– «Те» сбегут.

– На Марс что ли? Участь не завидная.

Новый взрыв истерического смеха.

«Все смертельно больные так боятся смерти, или только этот неврастеник?» – подумал я, а вслух сказал:

– Что же, Герман, видно Богу так угодно, рано или поздно, все ведь...

– Ты ничего не знаешь, – зашептал Герман страстно, – всякий там Марс и прочий космос – ширма, рисованная отчётность для планктона.

– Ты хочешь сказать, участники международной научной конференции в северной Каролине, еще сорок лет назад, зимой 2017 года, знали – современные знания о космосе сфальсифицированы? Ужели их теория плоской Земли, со стеною льда вместо Антарктиды по окружности, и центром на месте Северного полюса, подтверждается новыми исследованиями? Не могу этому верить.

– «Круглая», «плоская» – не в том дело! Какая разница, если дни ее сочтены! «Марс»! Какой идиот станет туда перебираться хоть и с горящего дома? Шило на мыло. Гиперскачок в прошлое, вот где разработки велись. Умно придумано! Информация полная, преимущества колоссальные, риск провала нулевой. «Те» в необходимом количестве – не менее пятидесяти, не более пятисот человек с некоторым оборудованием переправляются на несколько веков назад, небольшая спецоперация и они владыки мира. Да какого мира! Одна экология чего стоит! Никакой онкологии!

Герман всхлипнул и схватил стакан с минеральной водой на дне. Я поспешил наполнить его, причём вопреки обыкновенной моей аккуратности пролил половину на скатерть. Впрочем, это не важно.

– И что, далеко ли зашли эксперименты?

Теперь Герман не мог пожаловаться на моё невнимание.

– Так далеко, что в следующем квартале всё должно было быть готово.

– Да не задалось?

– Час X наступит скорее, чем предполагалось. Энергии хватает на небольшой объём, скажем, размер гостиной в доме твоего начальника. Чёрт знает, как это на их языке зовётся, не знаю. А чтоб энергоэпри-объекты – людей то есть, перемещать, совсем мало. Больше трех человек на потянет. Президент антидепрессанты колет. Конечно, с такой куцей свитой, да одной какой-нибудь пусть и самой современной установкой, если даже и нейтронное оружие...

– Где это? – перебил я.

– Что «это»?

– Конструкция, которая перемещает?

Герман захохотал в третий раз.

– Ах, ты планктон. Какая конструкция? Простой компьютер в моём центре – ведь вся операция, так сказать, лечебная. Программу определенную запускает одно нажатие комбинации знаков, но рукой президента. Клавиатура биочувствительна. Детали не знаю – не моя компетенция, но, кажется, стены этой комнаты особенные, то ли из каких-то супер-частиц, отлетевших от каких-то супер-протонов, то ли ещё из чего, что формирует чёрную дыру. А может и враньё.

- Знаешь, как время задать?
- Время?
- Параметры, куда перемещаться.
- Система сама спрашивает. Но пока дальше четырехсот лет...
- Вполне довольно. Теперь президентовы пальцы. Система, надеюсь, не распознает биоизлучение, а только отпечатки? Их можешь достать?
- Герман глядел во все глаза, выражение которых менялось удивительным образом, и наконец стало именно таким, какого я и желал.
- Варельман не должен стать на твоё место.
- Скажи, ведь ты тоже еврей, только зачем-то скрывал?
- Я покачал головой.
- Разве похож?
- Нет, – честно отвечал Герман, – но ты и не планктон.
- Я слегка поклонился.
- Сколько у нас времени?
- Около двух месяцев.
- Скажем – четыре недели. За это время – ложные пальцы – раз, супер-аптеку – два, с тебя и довольно.
- Что значит «с меня»? Ты ещё о ком-то думаешь?
- Герман, нас нигде не ждут. Но если мы окажем важную услугу высокой особе – осыплют всеми благами. Ведь ты добрый человек и не хочешь убийства невинных людей.
- Герман утвердительно затряс головой.
- Весь сценарий беру на себя, а в качестве исполнителя нужен опытный боевик, проводивший спецоперации по низложению режимов, зачистке разных там террористических гнёзд.
- Знаю, знаю, – радостно закивал Герман, – охранник наш русский – Омега.
- Из «Омеги»? «Альфа» начинает, «Омега» кончает?
- Вот, вот.
- Устрой мне сегодня с ним встречу. Времени у нас в обрез.
- Герман глянул на часы.
- К нему обед через двадцать минут. Хочешь приведу сюда?
- Хорошо.
- Как будто уже поздоровевший Герман побежал из зала, а я набрал номер лучшего своего приятеля – сына оперного певца Шарузского.
- Вот что, дружище, – сказал я, после обычных приветствий, – у меня к тебе нижайшая просьба. Так обяжешь, что по гроб жизни не забуду. Видишь ли, один, можно сказать, русский олигарх, имени пока не назову, чтоб не сглазить, заказывает виллу расписать у нас под Нью-Йорком.
- Поздравляю.
- Спасибо. У него готовится костюмированный банкет в стиле барокко. Меня тоже пригласили.
- Поздравляю.
- Спасибо. Только, понимаешь, ударить в грязь лицом нельзя, заказа лишиться могу, желающих много.
- Ещё бы. А певцы не нужны?
- Спрошу.
- Так чем могу помочь?
- Костюм Германа из «Пиковой дамы», или из комедий Мольера. Что-нибудь в этом духе. Костюмы для двух моих слуг – понимаешь заказчик хочет, чтобы всё было максимально приближено к реальности 18 века, аксессуары все, мелочи, тоже пригодятся.

- Не проблема. Только костюмы не испорти.
- Постараюсь. И ещё одолжение, уж будь до конца любезен. Помнишь, говорил у тебя знакомый в конном клубе преподаёт?
- Да.
- Закажи мне интенсив. Уроков 30. Эти три недели. Заплачу любые деньги. Кстати, о деньгах. Нельзя ли как-нибудь разжиться рублями 1724 года?
- Тоже для банкета? Да, капитально готовишься.
- Что делать, заказчик с прихотью.
- Верховую езду, пожалуй, устрою, а с деньгами не обещаю. Разве что наши «фальшивые» червонцы подойдут, которыми в театре на банк ставят?
- Подойдут, на худой конец, – сказал я, скрепя сердце, – а они хоть похожи на настоящие?
- Специалист только различит.
- «А ну, как различит?» – подумалось мне, и вообще не хотелось прибегать к мошенничеству – с детства не любил.
- Нет, не надо, спасибо. Поищу настоящих, заплачу хорошо.
- Что это ты вдруг деньгами швыряешь? «За езду заплачу, за нумизматику заплачу».
- Хороший же контракт подписал!
- Да, не жалуюсь.
- Так насчёт меня не забудь. Когда банкет?
- Банкет точно пока не назначен, а, наверное, недель через шесть.
- Договорились.
- Самое главное, чуть не забыл – паспорт, бумаги какие-нибудь. На банкет только с документом соответствующим пускают. Ксерокс цветной получшеними с подлинника, а имя, годы, губернию – я всё сам вставлю.
- Разговор с Омегой, как я стану называть вслед за Германом второго своего компаньона, был довольно затруднителен. Сначала дело пошло быстро – я объяснил, что изобрёл машину времени, обозначил задачу, стоящую перед Омегой, заметил, как хорошо ему за то заплатят, сравнил условия его существования нынешнего с предполагаемыми (Омега разразился бранью в адрес начальства «ничего не выслужил, грошовая пенсия...»), но дальше всё застопорилось.
- Конечно, не справедливо, а вот окажи ты подобную услугу персоне, о какой тебе толкую – вот ты уже и владелец сотен душ.
- Чего?
- Значит – людей. Они станут работать на тебя.
- Брешешь!
- Зачем же? У тебя будут усадьбы, слуги, всякие удовольствия. Например, домашние музыканты, дорогие лошади, собаки.
- Я такое не ем.
- И правильно делаешь. Я тоже не люблю. А в те времена и никто не ел собак и лошадей, они нужны были для охоты. А что до еды, то тебя станут угощать такими яствами, какие тебе и не снились.
- Брешешь!
- Видишь, работы не много – награда велика. Тебе и не такое приходилось исполнять, а что взамен?
- Омега разразился бранью в адрес начальства.
- Именно. А она даст тебе такой чин, что ты станешь господином обширных земель и множества душ.
- Чего?
- Значит – людей. Ты будешь им приказывать, и они будут повиноваться.
- А чего у них есть?

– Во-первых, экологически чистые воздух, вода, продукты, во-вторых, у них есть добронравие, усердие. У многих во всяком случае.

– Чего?

– Усердие. Это такое свойство, когда подчинённый стремится угодить начальству, более чем того требует долг. Ведь от тебя будут зависеть их благополучие, достаток, самая жизнь. Удивительно ли, что твои люди станут наперебой тебе угождать. Ты до конца дней своих будешь пресыщен всем, что может дать природа, торжество гения художеств и науки.

– В смысле?

– Говорю, не будешь нуждаться, а работы – какой-нибудь час времени. Проникнуть в дом, выкрасть, спрятать в надежном месте. Пройдёт совсем немного времени – и враги её сами отправятся на эшафот. Тогда она сможет вернуться ко двору нового императора со всеми вытекающими для нас последствиями.

Как ты считаешь, сколько тебе потребуется человек для этого дела?

Омега выругался.

– Что я за сопляк? Никто мне не потребуется. Зачем лишний народ? На роту что ли делить барыш? Зачистить домишко – плёвое дело.

– Постой, постой. «Зачистить» не годится. Я уже объяснял – её содержат постоянно под наблюдением, в комнате дежурят солдаты, имеющие наверняка приказ лишить жизни важную пленницу в случае попытки её освобождения. Это раз. Второе – убийства лиц охраны, насилия – не будут одобрены самой персонею, о которой мы хлопочем. Она имеет отвращение к преступлению и преступникам. Стать таковыми мы можем решиться лишь в случае смертельной для неё опасности, исчерпав иные способы спасти её.

– Тогда газ.

– Опять нельзя. От газа более всего пострадает не охрана, но пленница, измученная лишениями. Мы не можем рисковать её жизнью и здоровьем. Опять всякие умопомрачительные для её века трюки среди бела дня вызовут ненужные толки. Пожалуй, в народе начнут толковать о сговоре пленницы с потусторонними силами, явившимися ей на выручку. Совсем нам лишнее. Потому учти, никаких вертолётчиков, огнемётчиков и прочей атрибутики.

– Это не атрибутика, а инструмент, – заметил мрачно Омега. Дело оказалось не таким простым, как представлялось на первый взгляд.

Мы порешили на том, что Омега самостоятельно разработает план похищения персоны, о какой я хлопотал, с его, так сказать, практической стороны, и сообщит мне все детали через неделю.

Надо ли говорить, что дни летели в непрерывных и энергичных хлопотах? Изрядная часть моих сбережений ушла на покупку золота (нужных червонцев достать не удалось), другая – на занятия верховой ездой, фехтованием, стрельбой, обзаведением подходящим платьем, предметами первой предполагаемой необходимости, наконец, на приведение в порядок собственной наружности. Я и всегда уделял последней должное внимание, но теперь, конечно, более прежнего. Понятно, я не хотел глядеться заморышем, состарившимся, так сказать, не выйдя из лет, когда к вам обращаются «молодой человек». Даже состоятельный житель мегаполиса перед кавалерами, глядящими с полотен Рокотова, Каравака, Матвеева как ни старайся, имеет родство с Толкиновским Смеогорлом. Оно явно прослеживается. Только ли наружное? Конечно, я не хотел походить на помянутого персонажа, а кроме того... Впрочем, неважно.

Иногда ко мне забегал Герман.

– Я всегда полагал, – говорил я, минутами сомневаясь в реальности происходящего, – время объектом неподдающимся эксперименту. Минувшая минута, как и тысячелетие, канула в вечность – её уж нет.

– Заблуждение, не без причин поддерживаемое в умах толпы. Человеческое сознание не может вмещать несуществующих модусов. Выйдя в другую комнату, мы помним находящи-

еся в ней предметы. Они не уничтожены. Каждый временной отрезок – такая комната. Помнишь особенность, характеризующую представление о конце цивилизации во всех мировых религиях – времени не будет. Обычно это понимают, как непрерывное продолжение одного момента или состояния, что по-моему есть наихудшая попытка. Современные исследователи энергопотоков понимают это иначе – исчезнут преграды, созданные временем – еще одно новое положение в научном мире. Имею в виду действительно мир научный, а не ширму его, содержащуюся для планктона. Из того следует еще одно заключение: сознание человека не может быть эмоционально окрашено к несуществующим модусам. Биоэнергии, покидая материальные формы, заметь, то сказано весьма относительно, ибо абсолютно нематериален только Высший разум, создают направленный информационно-энергетический поток, который взаимодействуя...

– Герман, опыты в этой области противны Богу. Впрочем, как и во многих других областях. Как используются открытия? Далеко за примерами ходить не надо. Как скоро время начало поддаваться гению человеческого ума, в том уме уже созрел план порабощения собственных прашуров. Такого не знал никакой тиран. Ты никогда не задумывался, для чего многие века церковь запрещала беспорядочное развитие науки? Но, слава Богу, ты проговорился. Не случайно – мне.

– Фанатик!

Я мог бы возразить, что такое определение как нельзя лучше подходит самому Герману, почитающему прогресс – божеством, а служение ему – добродетелью, но как ссориться с ним не входило в мои планы, отвечал только:

– Извини, договорим в другой раз – тороплюсь на ипподром.

– По 10 часов в день скачешь! Не знаю, как ты еще стоишь, а особенно – сидишь.

Он был прав. Стоять, а особенно – сидеть, я мог с трудом, зато, делал заметные успехи в верховой езде. Продлись мои уроки дольше, вероятно, я не уступил бы лучшему жокею, но новый визит Германа положил им конец.

– Стала известной угроза проникновения в прошлое русского президента.

– А что, прошлого на двух не хватит?

– А кто даст гарантии, что от первого прикосновения к прошлому, оно не деформируется непредсказуемым образом? Надежность информации, успех обеспечены только первому. Впрочем, что до надежности, большой вопрос. Ведь практический опыт наработан только с перемещением в будущее: клетки с кроликами на неделю-две перемещали с запасом корма в нужное место, а потом до них «доживали». Смех! А с прошлым дело другое. Переместить можно, но как проверить результат? Да и трогать его, прошлое, все-таки бояться. Как бы там что не попортить до перемещения первых лиц. Энергию тоже экономить приходится. А то и на троих не хватает.

При слове «на троих» Герман захихикал возникшим у него привычным ассоциациям.

– Значит нам выпала честь послужить родине, во всяком случае – русскому президенту. Ведь где бы мы ни жили – душой всегда с Россией. Только вот Омега не готов.

Я знал, что объектом перемещения назначен аналог «Дештука 003–090», десантноштурмового подводного катера, служащего для операций в городских условиях. При помощи его Омега планировал подойти незамеченным к известному дому на Фонтанке и, по совершении захвата, скрыться, выйдя через Финский залив в какую-либо более или менее безопасную землю, долженствующую стать нашим приютом на опасные три года. Куда именно, должен был решить я. Однако проклятый «Дештук» находился, разумеется, не в омегином гараже, и чтобы добраться до него и снять координаты и параметры, тот требовал несколько времени.

– Мы не сможем переместить ничего, кроме вещей первой необходимости, что будут при нас. Выкрасть пленницу, думаю, для Омegi большого труда не составит, но вот исчезнуть со

сцены вовремя, без современных средств, будет сложновато. Для меня это ничего не меняет, но тебя хочу предупредить – шансы на успех очень упали. Может останешься?

– Здесь у меня совсем нет шансов. Действовать надо скорее. Когда помещение начнут наполнять объектами перемещения, усилят охрану. Их хитрость в том, что комната «обычная», доступна почти всем медикам до последнего момента, на том и сыграем. У меня всё готово – биоперчатки, точнее бионапалечники, вышли довольно плотные, материала с биопсии хватило бы и на две пары. Надену – не подкопаться.

Наивный Герман! «Их хитрость» не ограничивалась доступностью роковой комнаты.

Несомненно, как только «рука президента» начала свою работу, в каких-то иных кабинетах о том поступило сообщение.

На дверь, забаррикадированную Омегой, обрушались такие удары, что было ясно – настоящий президент уже в курсе.

– Так значит это не твоя машина? Куда ты меня втянул?

– Быстрей!

– Система не закончила обработку данных.

– Ты же говорил, ввёл время и место!?

– Теперь обработка. Есть! Ваша радужная оболочка, смотрим сюда. Объём перемещения?

– Некогда! Пробел!

– Вот пробел и переместит.

– Быстрей! Они всё здание уничтожат!

– Вместе с драгоценной системой? Ну нет!

– Пошёл отсчёт.

– Долго ещё?

– Не знаю. Оставаться на месте до сигнала.

Омега сломал пломбу и бросился из комнаты по пожарной лестнице на крышу. Надо было обезопасить себя оттуда. В ту же секунду мы услышали эклектический рёв из-за дверей – словно асфальт буравили. Свинцовая дверь дрожала, в ней появилась огненная брешь и стала расширяться в рамку круг замка.

– Подтвердите данные! Повторите код!

– Быстрее!

– Есть! Ждите сигнала...

Дверь падает, но мы уже на крыше. Обидно – не хватило какой-нибудь минуты! Меня охватывает полное равнодушие. К чему теперь все усилия? Почему не вернуться назад или не скинуться вниз? Последнее, впрочем, затруднительно. Крыша оказалась площадкой, окружённой непроницаемой оградой в несколько метров вышиной. Посреди неё стоит странный маленький самолёт. Омега машет из него. «Быстрей!»

– Президентский самолёт, – ахает Герман, – а я и не догадывался. Взлетает с места, как вертолёт и бесшумно, разгоняется до 3000 км/ час. Слышать – слышал, а вижу в первый раз.

Он успел захлопнуть дверь на крышу и ликует – спасены.

– Не горюй, у него знаешь какие системы, его не обнаружить. В Тель-Авив летим. У меня друзья там. Ну!

Яжимаю плечами и сажусь на пол – не хочу в Тель-Авив. Герман хватает меня и тащит в кабину. Я машинально лезу в неё. Омега запускает двигатель. Дверь на крышу падает, люди в масках заливают её огнём, но мы остаёмся неуязвимы. Разве мы так высоко уже?

– Смотри! – кричит Герман не своим голосом.

Омега крупно ругается.

Нью-Йорка нет. Сквозь порывы низких облаков покачиваются плотной пеленой верхушки елового леса. Березовые, осинового рошцы, кое-где полосы вспаханной земли. Раз-

двигаю их, обрамленные регулярными посадками, ровными лучами дорог, черепицей, медью пестрят крыши особняков, темнеют, зеленеют, золотятся поля круг деревенок в 10–20 дворов, сверкает, извиваясь лентой река, за нею – другая, уже первой, и дальше – ещё одна, полноводная, заключенная в бревенчатые тиски, испещрённая парусами, с глядящимися в неё нарядами дворами, с высоко вознёсшейся золотой иглой, увенчанной золотым же корабликом, с врезавшейся в воды её фортификацией. За бастионами видна многоярусная, крашенная в розовый цвет колокольня с золотым долгим шпилем.

– Петербург? – спрашивает Герман и протягивает мне платок. Я возвращаю его весь мокрый от слёз. Указывая опушку леса, не сразу нахожу сил сказать Омеге:

– Сюда, смотри чтобы не заметили.

Большой бревенчатый дом в два жилья, сусальным пряником глядятся резные белые подзоры. Тут же амбары, сараи, коровник, птичник, конюшни. И всё не пустое, подобно декорациям в театре, всё дышит, всё живо. Челядинцы снуют по двору. Один купает лошадей из ведра, другой метёт усыпанные щебнем дорожки, иные, их едва видно, трудятся над чем-то в саду, он зеленеет за амбарами. Что за воздух! Каждый вздох подобен глотку чудесной живой воды из русской сказки. Кощей и тот помолодеет с него и расцветёт полнощёким купидоном. А вот и он, чем не Купидон, – маленький мальчик в суконном нарядном кафтанчике, в башмачках с блестящими пряжками, красными каблучками, в льняных густых локонах, оттеняющих румяные щёки, спустился с крыльца в сопровождении почтенного вида и преклонных лет господина. Барское дитя с дядькою вышел на прогулку?

Но долго любоваться идиллией нельзя. Машину, не дай Бог, заметят. Мы оглядываемся – на улице, не мощёной, с неплотно стоящими палисадами, ни души. Со двора тоже ещё никто не видал, кроме Купидона. Да кто поверит малому дитяти? Мгновение и Омега скрывается в зарослях черёмух, в изобилии растущих подле ворот.

– Вечером близ её дома на Фонтанке. Я осмотрюсь. А вы припрячьте машину получше, и переоденьтесь. Говорил, одевайтесь со мной.

– Тебе идёт.

Купидон глядит во все глаза, дергает за рукав дядьку. Тот обращает взор на ворота, останавливается на мне. Я раскланиваюсь и как не в чём не бывало неторопливо шествую по дороге. Дядька отдаёт мне поклон и пожимает плечами в ответ маленькому барину.

Какой же это Петербург? Усадьбы средней руки расположены одна за другой, между небольшими перелесками осин, ольхи и берёз. Перед домом непременно французский парк, хоть в четыре дерева, но стриженных под вазы, шары, пирамиды. Никаких особенных красот – пропастей, гор, моря, но до чего хорошо! Аромат земли, всего растущего на ней, родной старины.

Вот парк, богаче иных, с изваяниями кумиров, фонтаном, беседкой, павильоном. Вот и ворота, герб, разумеется мне не знаком, а название усадьбы поражает не личасей ей скромностью – «Кустики».

Теперь чувствуется близость города, чаще попадаются прохожие, верховые, поклажи. Кажется, я гляжусь странною фигурой. Мой щегольской наряд своим покроем опережает платья модников на 20–30 лет. Отчего же фронт бредёт один по дороге? Ни лошади, ни экипажа, ни слуги. Какого звания человек? Штатское платье, чину не разобрать. Из учёных видно.

«Тащись чухонская нищая крыса, тащись к нам на жирный кусок, мягкую перину, радушный приём. Скоро набьёшь червонцами себе карманы, брюхо – стерляжьей ухой с пирогами, полными паштетов, станешь разезжать в карете с ливреею. Прикажешь скороходам твоим и гайдукам разгонять с пути твоего неповоротливого прохожего и проезжего, покрикивать «Дорогу господину обер-крикс-штал-оф и чёрт знает какому ещё комиссару». Чтоб тебя теперь возом переехал!» – читал я во взглядах, на меня обращённых, а быть может, мне это только чудилось.

Вот и городская застава. Здесь слились азиатские и европейские нравы, грубый скиф и утонченный европеец.

Изысканные, великолепные наряды, экипажи, здания, равные тем, что украшают и оживляют общество просвещенной части человечества сочетались с торговцами в азиатских костюмах, длиннородыми крестьянами, в кафтанах из грубой материи, в войлочных шапках, с топором или тесаком за широким домотканым кушаком.

Подобные одеяния и толстые шерстяные обмотки на ногах, образующие род неказистого чулка, воссоздают воспоминание даков, готов. Сии фигуры, словно сошедшие с барельефов древней Траяновой колонны, вновь обрели вещественность!

В городе спросил я ювелира и обменял у него золотые с бриллиантовыми искрами серьги («что за работа диковинная, отродясь такой не видал») на 40 рублей. Не знаю – продешевил или нет. Первым делом, зашел я в церковь и поставил рублевую свечу, благодаря за удачно совершенное путешествие. Разве не чудо, что самолет был запрограммирован к перемещению, что мы оказались в нем и теперь – тут!? Молил я и об исполнении своего замысла, особенно – о том, чтобы все мои действия, даже если в них вкрались какие просчеты, все-таки вели к благу той, для которой... впрочем, неважно.

Выйдя из церкви, я пошел по городу, ища где пообедать. По правде говоря, здоровым аппетитом никогда я не отличался, теперь же горел как в лихорадке и совсем думать о еде не мог, но помня о предстоящем мне деле, считал обязанностью поддержать свои силы. Как оказалось впоследствии – не напрасно.

Трактиры, или как они прозывались по-немецки Herberge, были очень обширны – занимали целый двор. В нижнем этаже помещался ресторан, в верхнем – жилые комнаты для «господ приезжих», во дворе – каретники, конюшни, сараи для фуража, погреба, колодец и прочее. Наиболее изрядные Herberge имели и плодовый сад, и цветник для приятности постояльцев. К таким относились трактиры на Троицкой площади, в Гостином дворе, на углу Васильевского острова, что смотрит на конюшенную канцелярию. «Аустерия» или трактир «четырёх фрегатов» показался мне слишком дорог, «казённые питейные дома» какие располагались, обыкновенно, на перекрёстках в подвалах зданий и предлагали всем желающим отведать пива, вина, мёда, табака и карт, не заинтересовали, и я остановил выбор свой на чистеньком дворе под вывеской «Гейденрейхский трактир».

В ожидании заказанного блюда, я огляделся. Низкие белые своды, выложенные китайскими изразцами печи, стены украшают картины в чёрных рамах, представляющие живописную Аркадию, с её беспечными жителями, угрюмые стенные часы, вделанные в подстavec, размером с большой буфет, масляные лампы блестят начищенной медью. Из посетителей я заметил нескольких офицеров, погружённых в карточную игру и клубы табачного дыма, и трёх людей, принадлежащих, как я догадался из речей их, к купеческому сословию.

– Кабы не генерал полицейской канцелярии их, господин д'Арженсон, так дюк Орлеанский и совсем бы Францию по миру пустил, через вора этого – Лоу.

– Зачем по миру? И не Лоу он, а Ласс по-французски прозывается, потому как король французский его принял в свою державу. А писано в книге его «Laws», а книга та зовётся «Уверс комплете». Читывали?

– Я и без книги тебе скажу, племянник, что мошенник он. Где ж это слыхано – золотом за бумажки платить?!

– Не мошенник он, дядюшка, а добрый патриот, усыновившего его отечества. А что до финансовых проектов его, и в особенности реформы Vanque générale, то сие всё прилежит благу человечества.

– Золото за бумагу отдавать – благо человечества?! Изрядно учинено! Разорил твой Лоу тысячи людей народу, да и бежал, как вор, в Генце. Вор и есть!

– Что эмиссия банковских бумаг вышла, то верно, да вору, дядюшка, не назначили бы пенсию в 12 тысяч ливров, а король сие учинил!

– Ворам-то и назначают, – проворчал с неудовольствием собеседник и взял понюшку табаку, – Нет, племянник, нас не так учили! Теперь вот такое брожение в умах пошло, что я никого, ниже сына своего прочить в дело не могу. Да, что в дело – лавки скоро оставить не на кого будет! О правде ли нынешнее купечество радеет?! Какое, коли новую наживу изыскали – вместо золота дурням бумаги сулить, что де того золота им в год, другой, втрое принесут! «Эмиссия»... злодейство это, племянник, и плутни, а не «эмиссия» твоя!

– Точно, что злодей, – подобострастно подхватил, молчавший прежде делец, по виду – клиент первого – графа Уилсона шпагою до смерти заколол и от пределов отечества бежал, страха ради сыска и виселицы.

– Не хочу, не стану лангеты есть! Не купишь шоколада пить, вовсе и уйду! – раздался капризный возглас вошедшего в трактир малыша в бархатном балахончике из-под которого виднелись тонкие икры в чёрных плотных чулках.

– А маменька что же скажет? – урезонивал его лакей, несший за маленьким хозяином корзиночку, – целый день, почитай, зверинец глядеть изволили и хотите голодным домой воротиться? Да как же мне отвечать станет?

– Зачем голодным? Я шоколада попью.

– Как вы изволите, Валерьян Кириллович, а коли лангетов али шницеля не откушаете и шоколада покупать не стану, и маменьке доложу!

– Приказывай шницель, – отвечал упавшим голосом господин его, и усаживая рядом вынутую из-за пазухи куколку-арапченка, промолвил, – нынче шницель, майн либер, без того никак нельзя.

Звук барабанной дроби привлёк в этот момент всеобщее внимание. Ровно что толкнуло меня в сердце. Я стал глядеть в окно с прочими. Отряд солдат в четыре человека остановился, один из них развернул бумагу, барабаны смолкли.

«Назавтра в 8 часов по полуночи противу кронверка крепости учинена будет экзекуция некоторых важных злодеев, коих замыслы к возмущению и бунту прилежали».

Прочитал глашатай, дробь возобновилась и отряд продолжил обход свой.

– Каких злодеев, кто злодеи? – обращался я к тому и другому, но никто не давал ответа, напротив, сторонились и с опаской переглядывались.

– Не изволите ли идти к своему месту? Али ещё заказывать желаете? – вежливо, но твёрдо проговорил трактирщик, кладя конец моим расспросам.

Как во сне бросил я на стол деньги и вышел вон. Чем ближе подходил я к Неве, тем сильнее было впечатление, произведенное вестью о грядущей казни. Я пытался было отогнать эту тучу наблюдением над проходящими мимо русскими, не потерявшими своей чистой коренной народности, любовался ею, но мысль, тяжелая как свинец, все более поглощала меня. Сколько не осматривал я укрепленный берег реки, снабженный на подступе к городу дамбой и плотиною, а также прорытым каналом, чтобы излишней воде, стремительно приходящей с моря, было где разойтись, не мог стряхнуть с себя тревоги.

Плотины сверху покрыты были досками, так что по ним можно было проехать на лошадях. С приближением к морю, как заметил я еще из самолета, Нева расширялась и разделялась на несколько русел, расходящихся в разные стороны. Берега этих русел густо обиты были сваями, а в иных местах их равняли, расширяли, поднимали и углубляли, чтобы подходили суда. Все сие производилось гением юного, только вернувшегося тогда из Италии, инженера Петра Михайловича Еропкина. К сожалению, впоследствии, когда предан он был опале и казни, имя его – имя создателя Петербурга и Кронштадта, тщательно вымарывалось из всех документов.

Им же город поделен был лучевою системою на очень большие участки, на которых каждый сенатор, министр и боярин обязан был иметь дворцы, иным пришлось поставить и три, если было приказано. Счастлив был тот, кому отвели землю на сухом месте, но тот, кому достались болота и топи, изрядно потрудились, доколе не укрепил фундамент и не выкорчевал лес. По дороге к Кронштадту имелось немало места, где начинали строить, в том числе из кирпича и камня. Тут уже до самого моря поселилось несколько тысяч мещан.

Напротив крепости, через Неву, стояли большие дворцы, называемые коллегиями. В одном происходили аудиенции заграничным послам; другой служил сенатом; третий – конференциям по внешним делам; четвертый был коллегия юстиции; пятый – военная судебная коллегия и коллегия сельская. При каждой коллегии имелись отдельные канцелярии.

За дворцами стояло здание, где останавливалась почта. Далее располагался зверинец – здания для птиц, где продают тетеревов, рябчиков, глухарей, уток, чирков, певчих щеглов, соловьев и дроздов, клетки для хищников: барсов, леопардов, медведей, львов, росомах, для диковинных животных: обезьян, слонов, верблюдов и прочих занимательных для жителей города существ.

Площадь, отведенная под зверинец, была огромна – неудивительно что встретившийся мне в трактире лакей обеспокоен был, как бы утомленный осмотром сих красот маленький господин его не вернулся домой голодным.

Здесь же стояли церкви, коллегии, дворцы, лавки и постоянные дворы, в которых всего водилось вдоволь. Палаты вельмож большей частью были просторны и выстроены из кирпича с флигелями, кухнями и службами, но поскольку строились в спешке, то тес местами ненадежен был и требовал внимания рачительных хозяев.

Церкви стояли все с башнями, часы на которых играли псалмы или французскую музыку. Вообще, во всем городе, на дворцах и коллегиях много было таких часов, словно франтоватых дельцов нового века, спешащих по заведенному однажды фортуною кругу.

Вид городских садов вызвал во мне воспоминание слов царя Петра: «Если проживу три года, буду иметь сад лучший, чем французский король в Версале». Государь прав был. Морем из Венеции, Италии, Англии и Голландии в Петербург везли много мраморных изваяний, статуи, даже целых беседок, сделанных целиком из алебаstra и мрамора. Все сие шло в сад, расположенный над самой рекой между каналами. Каких только не собрано было в нем редкостей, гротов, галерей, удивительно красивых деревьев!

Со стороны реки сад укреплен был кирпичной кладкой. Тут можно было сесть в бот или в барку, яхту или буер, чтобы плыть по морю либо прогуляться по каналам и широкой реке.

На другом острове находился пороховой завод; на третьем, называемом Васильевским островом – летний и зимний дворцы князя Меншикова, а также дворцы других вельмож. Они спускались до самого моря, словно умаляясь в чине и довольствуясь более низкой землей.

Еще и половина города не была возведена, а всякий уж восхищен им бывал. Я хотел отдаться прекрасному чувству художника, глядящего на чистый образец гармонии, но никак не мог.

Тоска безвестности надломила душу надвое. Не чувствуя усталости, я, однако, несколько раз приостанавливался по дороге. Между тем день уж клонился к вечеру.

«Важные злодеи? Никто не должен быть казнён апрелем сего года. Или до нас не дошёл другой процесс»? Страшное предчувствие жало мне грудь все теснее, со страхом и мольбою обратился я к степенной мещанке, неторопливо ступающей мне навстречу.

– Простите сударыня мою дерзость, точно, что я незнаком вам. Но вы извините очень легко, конечно, попавшего в беду иностранца, что впервые видит сей прекрасный город. Не окажите ответить: какой нынче день?

– Четверг, ежели вам то знать надобно.

– А можно ли узнать числом?

– Июля, девятого дня. Что с вами, неладно? Не кликнуть ли людей?

Я покачал головой. Ей оставалось жить около 16-ти часов – и каких часов!

Перед самой казнью ей урежут язык. Кровь не остановят – последняя четверть часа жизни не стоит и хлопот. Она пойдет к эшафоту захлебываясь своею кровью, почти лишаясь чувств, влекомая стражей, чтобы не упасть.

– Ахти! Да не помешанный ли? Держите его, не учинил бы над собой! – вскрикнула испуганно страшная вестница.

Двое случившихся прохожих вняли было словам ее, но разве шайтан мог бы теперь меня удержать.

– Скорее, голубчик, братец! До Фонтанки – рубль получишь, два, только ради Бога, пого-няй!

– Не тужи, барин, Бог милостив, – напутствовал меня через несколько минут лихач-извозчик, принимая деньги.

В каком она равелине? Трубецкого? В Государевом? В Меншиковом бастионе? Доподлинно неизвестно.

– Ничего не знаю, – заявил Герман, – дату ввел, как ты просил – двадцать девятое апреля.

– Дело-то выходит дохлое, – веско подытоживает Омега мои сбивчивые речи, – самое верное – подождать другого узника. Часто их тут сажают, вельмож? А пока разработать детали. Брать надо при аресте в дому...

– Прощай. Договаривайся со своим непосаженным вельможей, как знаешь, без тебя обойдусь.

– Стойте, стойте, – испугался Герман.

Не скоро оба они уразумели, что намерение моё не зависит от того, будут они помогать в нём успеть или нет. Вновь нарисованные, возвращённые до исполинских размеров, неги и роскошества спасителя важной узницы колеблют наконец Омегу.

– С крыши стану «снайпером» снимать, а вы – не зевать, ждать не стану, провозитесь – один улечу.

Сколько я не протестовал, как не рвался, какие золотые горы не сулил, проникнуть в крепость Омега наотрез отказался.

– Иди туда, не знаю куда. Я уж насмотрелся за день на их живую силу. Шутить не любят. Это не банановая республика. А ядра чугунные видал? Разнесёт президентов самолёт не хуже консервной банки.

– Нельзя ждать утра – самолёт заметят, пойдут толки.

– В крепость не сунусь, сказал. Как выведут за мост, начну. Пока они смекают, что к чему, убираю сопровождение. Чтоб не успели упасть – был рядом с ней и отволоч в осинник – тут же, версты нет, за кронверком и сахарным заводом. Там самолёт. А чтоб не видали – поворачивайся. Успеешь оторваться от погони – за рошей не приметят как поднимемся.

– Оторвусь, – твёрдо отвечал я, – но нужна хорошая лошадь, и чтобы прикрыл.

– Прикрою, не проблема, и за лошадьми дело не станет, коли охрана, как говоришь, вер-хами будет.

– Как ты речь за день перенял, – одобрил Герман.

Каково мне было согласиться с планом Омеги!? Но как я не мог предложить ничего более надёжного, должен был уступить и готовиться к несчастной участи Лизаветы Романовны – назову её так.

– Герман, твоя пациентка почти инвалид, но может быть современный врач может совершить чудо? Подумай какая награда...

Но Герман кисло махнул рукой:

– Мне и голову после казни трансплантировать не проблема, но ведь ничего же нет: ни аппаратуры, ни вакуума, ни лаборатории. Язык можно, конечно, было бы из пересаженных

тканей восстановить, но здесь не на чем. Вот, если бы она с собой взяла отрезанную часть... Не догадается? Да ты успокойся. Летального исхода не будет. В самолёте аптека очень неплохая нашлась, там и донорская кровь есть. У ней какая группа?

– А лёд есть?

– Лёд?! Зачем?

Я понял, что познания Германа нужны мне не более, чем мобильный телефон, что мёртвым грузом лежал ещё в кармане. Я бросил его в канаву и с удовольствием также поступил бы и с Германом.

Еще не рассвело, а мы уже хоронились за трубами строений Городецкого острова, против Петровского моста.

– Чего волосы запудрил? Лучше бы нарумянился – краше в гроб кладут, – заметил, зевая, Омега.

Я не отвечал ему – не до того мне было, и не сразу взял в толк о какой «пудре» идет речь – в одну ночь пряди на моих висках поседели.

– А нам самим снаряды не повредят? – шептал встревоженно Герман, – Близко же! Это какие, с паралитическим действием? А точно не лучевые? Мне лучевые нельзя! Это СВЧ? Мне любой ожоговый эффект противопоказан! Тут меньше ста метров, достанется же!

– Отвяжешься ты когда-нибудь? Сто раз сказал – обычные слезоточивые.

– А если...

– Замолчи уже! Твое дело не хитрое, знай стреляй куда прикажу. Вчера все отработали, нет опять заладил!

Герман демонстративно отвернулся и замолчал, но недолго.

– Если я замечу, что втянут в действия, угрожающие моему здоровью, я отказываюсь от всякого сотрудничества! Я приехал сюда для лечения, а не для проведения противоправных актов!

Омега не отвечает, держит под прицелом мост, перекинутый с острова на материк. Он ещё пуст, но несколько верховых ожидают на берегу появления осуждённых – сопровождать до площади. Их посадка в седле, выправка, пудренные косицы париков, мундиры – всё потрясает Омегу и у него вырывается сдержанный возглас восхищения:

– Вот уроды!

Скоро и ещё небольшой отряд «уродов» в десяток солдат приходит к мосту. Офицер расставляет их в цепь.

– Как выглядит объект?

На меня вдруг напал страх. Портреты портретами, а вдруг я её не узнаю? Осуждённых пятеро, точно ли её выведут первую?

– У ней рот будет завязан.

А сам принял уж совсем нелепую мысль: «что если нет»?

Напрасно я сомневался. Осуждённых нельзя ещё было разглядеть хорошенько, а я уже увидел её. Узнал бы не из пяти – из пятидесяти, пятисот! Сострадание, гнев, преданность охватили меня столь неудержимо, что я едва мог оставаться на месте.

– Глянь – она?

Омега протягивал винтовку.

– Между первыми конвойными.

– Длинным и курносым?

– Да, – отвечал я, с ненавистью пожирая глазами курносого следователя Лизаветы Романовны, которого тотчас узнал по портретам.

– Скорее, Омега! Она истечёт кровью!

– Спустишься – освобожу из-под толстого белую кобылу. Мы с Германом прикроем. Завозишься – дрянь дело выйдет. Пошёл!

Всё произошло одной минутой. Пули Омеги бесшумно уложили и длинного, и курносого. Я не завозился и в тот же миг заступил их место подле Лизаветы Романовны. В то время, как солдаты, пораженные необычайным событием, тёрли залитые слезами глаза, я скакал к осиновой роще. Несколько небывало раскатистых выстрелов – не иначе из кремневого ружья, послышались за мою спину. Омега опередил меня, он уже в кабине. А где же Герман?

– Нет его! – кричит Омега.

– Может ранен?

– Убит, говорю, сам доделал. Попадётся – выдаст, ясен пень! Да у него дыра в башке и без меня была – во!

Я оторопело гляжу на Омегу, но приводить в порядок впечатления некогда, мы уже в воздухе.

– Лизавета Романовна, вы живы – какое счастье! Ваши злодеи будут примерно наказаны! – бормочу я несвязно.

Она без памяти. Я спешу развязать рот и руки несчастной. Платье её, сиденье, мои руки, пол – всё мгновенно заливается кровью.

– Лёд! – кричу я Омеге.

Пережимаю вену на шее, надеюсь, ту что нужно.

– На юг летим, штурман? В Польшу, что ли?

– Ещё льда!

Кровь постепенно унялась, только капля ее выступала на губах, медленно ползла по подбородку, перепачканному бурыми, уже сухими пятнами. В лице – ни кровинки, такого земляно-серого цвета не встретить у живых, оно чем-то напоминает лицо Орлеанской девы с картины Георга Вильяма «Спящая Жанна д'Арк». Сочетанием кротости и высокого, непреклонного духа?

Очень искусно (для того, кто проделывает подобную операцию впервые) я вколлот ей в вену кисти руки сначала ампулу с физраствором, затем – с глюкозой, выбрав единственно известные мне препараты из обширной аптеки. Сильные средства, как и донорскую кровь я опасался колоть, следуя девизу доброго лекаря «не навреди». Руки несчастной Лизаветы Романовны также пострадали. Хоть я и мало понимаю в хирургии, очевидно – плечевой сустав ее левой руки не выполняет своей функции. Зафиксировать в таком положении? Скорее – нет. Я ещё колебался, держа в руках антитравматичные бинты, как моя больная стала дышать глубже и ровнее, веки её дрогнули.

Я отложил бинты и вытащил бутылку с минеральной водой. «Живая вода»?

– Горючее кончается. Где твоя Польша?

Я глянул на часы и ахнул – за хлопотами круг Лизаветы Романовны прошёл час. Учитывая скорость самолёта, Польшу мы миновали.

– Высоту теряем, надо сажать.

– Сажай, – упавшим голосом отвечал я.

Лизавета Романовна приоткрывает глаза, перед ними всё качается, тонет в тумане, сквозь который мы толчками опускаемся.

Но, как счастливо – это обстоятельство не кажется ей странным, она и не ждала, конечно, очнуться бодрой и здоровой.

– Лизавета Романовна, не угодно ли?

О! Каким словом описать впечатление, произведенное ее взором, впервые встретившимся с моими глазами!

Я подаю ей воду в стакане. Разумеется, половина проливается, вторую Лизавета Романовна с видимым усилием смачивает платок и вытирает лицо и пальцы. Нежданная участь дорогой водицы!

– Не могу же я водить без навигатора!

Я гляжу в окно – под нами уже близко голая степь. Река, шириною с море, катит свои воды в другое море – совсем уж бескрайнее. Горизонт его блещет на солнце, устье распадается на множество рукавов. Вдалеке лепятся друг к другу, сходятся и расходятся виноградники, засеянные поля, огромные сады, многочисленные хозяйственные постройки, верфи, лесопильни. Вот показалась и каменная гавань, густой лес корабельных мачт.

«Лизавета Романовна, вам лучше будет снова почивать», – хочу я сказать, но вижу, что больная моя, утомлённая процедурой умывания из стакана, в самом деле задремала. И очень вовремя – Омега дотянул до камышовых зарослей мелководья и неуклюже завяз в нём, подняв в воздух столбы воды, ила, порванной зелени, песка, стаи птиц и мошкар.

Надо ли говорить, что наш самолёт был снабжён соответствующими защитами. Внезапная посадка не причинила нам никакого вреда.

Мы выбрались, как могли скорее, чтобы, оборони Бог, не быть застигнутыми рядом с подозрительной конструкцией. Из имеющихся в кабине обивочных тканей и подручных предметов соорудили нечто вроде носилок, уложили на них Лизавету Романовну («ещё маленькое усилие, Лизавета Романовна, мы почти добрались») и побрели к городу, по колено в воде. Скоро мы выбрались из болота на дорогу. По ней тянулась арба с впряжённым мулом. Узкоглазый мальчик, подогнув ноги, сидел на куче арбузов, иногда окликавая мула и по-видимому поощряя его идти быстрее. Навстречу скакал верховой, в мундире драгунского солдата.

– Что за беда с вами, добрые люди? Виноват, чина не ведаю, – обратился к нам солдат, остановив коня.

– А! – махнул рукой Омега с видом «лучше и не спрашивай!»

– Экипаж наш упал, а как ехали очень скоро, то и разбился совсем и в болоте потонул. Сестру вот мою повредил, мало не до смерти. Нам бы к лекарю скорее, – отвечал я довольно правдиво.

– А лошадь?

– Лошадь понесла, оступилась и шею переломала – потому и случилось несчастье.

– Эй, мальй, стой! – крикнул солдат мальчишке на арбе, – арбузы твои долой! Тут господам пособить нужно.

Мальчишка делал знаки, что не понимает по-русски, но солдат не стал долго церемониться и, накренив жалкий его экипаж, принялся за дело. Мы с Омегой помогали усердно и скоро освободили себе место на арбе.

– До города довезёшь и воротись за арбузами своими, – ободрял солдат зарёванного мальчишку, – а господа, небось, ещё наградят, – и добавил к нам, – вот нехристь, по нему хоть умри на дороге, нет чтоб раду быть приятельство оказать.

Я вручил плакальщику мелкую монетку. Глазёнки его блеснули, и он сунул её в рот, оскалив при том радостно ярко-белые зубы.

– Айда город ходить!

– Вот бесёнок, живо по-русски спознал, – усмехнулся солдат.

– А какой это город? – спросил я его.

– Нешто не знаешь? Астрахань.

Глава II Школа



Астрахань лежит около шестидесяти верст от Каспийского моря, на острове Волги, чей главнейший рукав течёт на запад.

Сей город укреплен кирпичною стеною с бойницами и четверугольными башнями по некоторым расстояниям. Находится там небольшой залив для судов, плавающих по реке и по Каспийскому морю. Одни только россияне имели позволение плавать по морю; персияне и другие окрестные народы одни только рыболовные суда на нём имели.

Дома почти все деревянные. Лес, употребляемый для строения, сплавляется туда по реке. Окрестная страна не иное что как пространная степь. Климат здесь очень жарок, но чрезвычайно здоров. Погода бывает обыкновенно тихая, что и производит множество комаров и мошек, наполняющих страну. Они прогоняются иногда сильным ветром, восстающим с моря. Насекомые рождаются на мелях, по ним нет проезда, по причине множества растущего там камыша.

Во время таянья снегов, Волга наводняет всю пологую землю на великое расстояние, и такое же производит действие, как Нил в Египте. Ил, который она влечёт с собою, столько утучняет земли, что составляющиеся из одного острова, из коих некоторые довольно велики, покрыты все деревьями, и преисполнены наилучшими спаржами.

По реке и прилежащим болотам все породы уток, бекасов, куликов, цапель, гусей и курахтанов вьют свои гнезда. Криком и гомоном насыщают воздух степные птицы: дрофы, стрепета, кроншнепы, куропатки. На дне лесистых оврагов жила бездна тетеревов, водилось всякого зверья великое множество.

Соколы в сей стороне больше, сильнее и лучше всех на свете. Турки и персияне похваляли их и покупали дорогою ценою. Россияне мало их брали из гнёзд, и предпочитали молодым старым, коих приучали они ловить лебедей, гусей, журавлей и цапель. Татары употребляли их для ловли сайгачей и зайцев.

Я сам видал, как тамошний сокол подхватил из воды дикую утку, у которой один только нос было видно. Среди соколов есть такие белые, как голубь. Их ловят самым простым способом – втыкают долгий шест на высоком и светлом месте на речном берегу, и расставляют подле одного сеть, под кою сажают множество мелких птичек.

Каково было мне, свыкнувшемуся с теснотою и духотою искусственного жилья, употреблением только химически обработанных неживых плодов, окунуться в сей едемский сад! Один вид его способен был целить всякого.

Река кипела породистой рыбою. Кроме стерлядей и осетров, коими она весьма изобилует, водится еще в ней рыба похожая на лосося, кое тело очень бело и вкусно; почему она и названа белая рыба. Рыбный торговый ряд дважды в день наполнялся рыбой – утром и вечером, ибо Волга доставляла ее в таком огромном количестве, что часть ее, оставшуюся непроданной, даром отдавали не только всякому неимущему человеку, но и на корм домашним животным. Хлеб, говядина, баранина, всякая живность, и другие съестные припасы продавались весьма дешевой ценою.

По утрам, на зорьке весело кружились в небе, щебетали и пели ласточки и жаворонки, громко били перепела в полях, хрипло ворчали в кустах дергуны. Иногда блеянье дикого барашка несло с ближнего болота, варакушки с дерзостью передразнивали соловьев – все живое величало пробуждение знойного светила!

Разумеется, хоть я перечислил имена, наполняющих сию страну созданий, узнал их много позднее. Тогда же не умел отличить бекаса от тетерева.

Поблизости находилось множество нефтяных ключей. Нефть полагали некоторым родом земляного масла, цветом она не совсем черна и чрезвычайно удобная к возгоранию. Употребляли её для горения в лампадах, фонарях и лампах; дождь не может её загасить; но запах от неё весьма противен. Я видал очень светлую нефть, бившую как ключевую воду.

Соборная церковь, палаты архиепископская и губернаторская, и губернаторская канцелярия стояли в крепости. Город окружался рвом и тыном. В предместьях жили ремесленники, исключая одну или две улицы, в коих жили татары мухамеданцы, родившиеся в той стороне: они живут весьма опрятно и независимо, в свободном отправлении своей веры, и пользуются многими вольностями. Производят они торговлю с Турцией, с Персией и прочими, и есть из них некоторые весьма богатые.

На улицах своих они держат кофейни, также весьма чистые, в которых подают за очень умеренную плату кофе, редьку и орешки в сахаре, маринованные сливы, финики и артишоки и прочие, кофию приличные, закуски.

В одной такой кофейне свёл я знакомство с монахом капуцинским, Феликсом и очень удачно – тот будучи учителем в школе при миссии своего ордена, доставил и мне место учителя арифметики, но по незнанию моему латыни, в другой школе – гарнизонной. В этой школе обучались дети солдат и унтер-офицеров с семи до пятнадцати лет кроме письма, чтения, арифметики, еще навигационной науке, инженерному делу и баллистике. Тут же готовили к должности полковых флейтистов, канцеляристов, а наименее способных мальчиков знакомили с ремёслами столяров и кузнецов. Примерные же в прилежании и баллах могли продолжить своё обучение ещё три года и, кроме перечисленных дисциплин, овладеть латынью, немецким и французским языками, начальными знаниями по архитектуре и геодезии.

Между прочим, офицер, что учил мальчиков строю, по примеру программы сухопутного шляхетского корпуса, который сам кончил, предлагал к изучению не только воинские артикулы, но и различные упражнения «для изящного обхождения» вроде балетных приемов. То вызвало насмешки некоторых лиц, утверждавших будто для детей младших чинов и даже из «подлого звания» то излишне. Но офицер придерживался мнения что «производящий разумом и движением изящное, зла не мыслит», и со временем приобрел всеобщую похвалу, так что об усердии его докладывали начальству.

Здание, отведённое под школу, представляло из себя длинное бревенчатое строение в один ярус, стоящее посреди обширного двора. Передняя часть его была совершенно пуста, и земля на ней была плотно утрамбована щебнем. Место это служило к строевым занятиям учеников, коими руководил особый офицер.

Внутри стены были все выбелены мелом. Кое-где их украшали лубочные картинки в аллегорическом виде представляющие различные науки. В красном углу перед образом теплилась лампада, под большою классною доской лежал, заключенный в деревянные или кожаные кольца (чтобы не пачкать пальцев и платья) мел, а ещё ниже – ящик с розгами – наглядному средству супротив лени и проказливости.

В распоряжении учителей – в младших и средних классах их было двое – один для точных, другой – для всех прочих наук – была небольшая комнатка. По дощатым стенам стояли на полках масляные лампы, кофейник, спиртовой светец в три горелки, несколько учебных пособий, в том числе «Приклады, како пишутся комплименты разные», старые нумера «Петербургских ведомостей», календари, чучело какой-то незнакомой мне лесной птицы (подарок ученика, любителя зоологии?), костяная табакерка, запас сургуча и бумаги и прочие мелочи. Тут же висели в чёрных рамах два не особенно искусных масляных пейзажа, за прибитую к стене кожаную ленту заткнуты были несколько писем, гребешок, линейки, засушенное длинное степное растение в колючих острых лепестках которого застрял сухой же труп большого рогатого жука. Чьи-то карманные часы, великодушно подаренные школе, подвешены были за цепочку на вбитый в стену гвоздь. Сосновый струганый стол с грубо прибитым зелёным сукном и несколько стульев довершали убранство учительского кабинета. Кафельная печь и два медных шандала были, пожалуй, главными его украшениями.

Как я уже говорил, все предметы в школе преподавались двумя учителями. Один прозывался Лаврентием Жильцовым, другим был я, и кроме арифметики должен был изъяснять естествознание. Последнее особенно меня беспокоило, ибо как это обыкновенно бывает в среде городских жителей второй половины 21-го столетия, был сведущ на сей предмет не более младенца. Минералы, роды почвы, всего растущего и бегающего по земле были для меня книгой за семью печатями. Я решил ни под каким видом не обнаружить невежества своего, и исключил себе право начать преподавание естествознания после летних вакансий, то есть с начала октября, надеясь за оставшиеся два месяца прилежными занятиями пополнить свои знания.

Теперь до начала вакансий оставалось две недели. Это обстоятельство, разумеется, не могло не отражаться на настроении учеников. Они, правда, ласкались, что замену их прежнему старику – учителю, ушедшему на покой, часто недомогавшему лихорадкой, найдут не скоро, но как я дал понять, что не стану портить им кондуитный список с отметками о поведении и способностях, и один из предметов – именно естествознание – начну читать с осени, оставались в превосходном расположении духа.

В классе находились мальчики разных возрастов, ибо ученики переходили в следующий класс по мере преуспеяния в предмете.

Конечно, я должен был непрестанно приглядываться, принаравливаясь, чтобы не сделать какого-нибудь промаха. Потому первые дни, под предлогом желанья выяснить уровень учащихся я предлагал им различные задачи из разных пособий, предлагаемых библиотекой. В ней я отыскал прекрасно изданную «Арифметику» Магницкого. Первую страницу книги украшало изображение «храма мудрости». Фигура мудрости помещалась на престоле, круг него стояли колонны с надписями «оптика», «картография», «фортификация» и иными подобными. Руководство швейцарца Эйпера, переведенное на русский язык, «Детский гостинец» наполненный множеством загадок арифметического характера в стихах для «приятного препровождения времени», «Таблицы синусов», «Горизонтальные таблицы» также не обойдены были моим вниманием. Другие учебники писаны были латинским и немецким языками, их я принуждён был отложить.

– Начнём, благословясь, судари мои, – говорил я обыкновенно, передразнивая фонвизинских Кутейкина с Цифиркиным.

«Судари», разумеется, сей иронии оценить не умели, и деловито вытаскивали из попугайных аспидные доски.

«Два человека восхотели вкупе торговати. Один всклад положил 460 рублей, другой – 390 рублей. И на эти деньги приторговали 198 рублей. Ведательно есть по колику деньгами которму достанется».

«Для уравнения в правах целых и дробных чисел, кои законы Декарт предложить имел? И ведательно сие изъяснить, собственное действие о дробях составив».

Забросив нога за ногу, я садился за свою кафедру и устремлял взор в окно, предоставляя «сударям» полную свободу. Те пользовались ей по своему вкусу, исполняя урок или проказничая. Впрочем, шумно возиться они никогда не смели, опасаясь надзирателя.

– Вы что же Алфеев, в сапожники ласкаетесь? – обращался я, по проверке заданий, к одному из старших учеников.

– Он по отцу идти ласкается, – крикнул один из бойких мальчиков, пока Алфеев сообщал с приличным случаю ответом, – тот порот третьего дня за драку в пьяном виде.

На сей раз Алфеев не задумывался и показал здоровенный свой кулак выкрикнувшему с места.

– Я разве вашего мнения искал, Братояров? – спросил я.

– Никак нет, господин учитель, но таки оное нашли, – отвечал тот, весело поглядывая на всё общество.

– Так идите и вы отыщите нам нечто к общей пользе, – приказал я, начертив замысловатое уравнение на доске.

«Ишь Гофгерихт, – фыркнул тот тихо, но я таки расслышал, – очень испужался», вскочил и с видом «подумаешь, бином Ньютона», принял от меня мел. В одну минуту он измарал им кругом всю доску и объявил корень.

– Не верно. Вникните судари мои, дефиниция.

Я объяснял, как мог, решение каверзного уравнения и отпускал учеников обедать.

Надо заметить, каждому ученику выплачивалось около четырех рублей в год деньгами на школьные принадлежности, отпускали материи на рубахи, галстуки, штаны, чулки и башмаки с железными пряжками, мыло и некоторые иные мелочи. Кроме того, по приказу губернатора, ежемесячно школе выделялось по три пуда муки на каждого ученика, а с третьего класса каждому прибавлялся кусок красного сукна на ворот мундира. Все эти издержки несла на себе канцелярия штатс-конторы. Она же должна была заботиться о содержании сирот служилого сословия и зачислять их в гарнизонную школу с пяти лет. Школа состояла под надзором специального офицера, о общее руководство школами губернии осуществлял сам губернатор.

Таким образом получил я средства покоить несчастную Лизавету Романовну, по Астраханской дешевизне немалые – около 25 рублей в год, что в сочетании с имевшейся на руках суммой, вырученной за золото, в 228 рублей 76 копеек составляло некоторый капитал. Я тотчас и употребил его ко благу Лизаветы Романовны.

Первым же моим делом по прибытии в город, было сыскать лекаря. Следуя наведённым справкам, я обратился к лучшему местному эскулапу – Богдану Карловичу, которого просил пожаловать к нам в комнаты для «проезжих господ и торговцев» гостиного двора.

– Но, попрошу вас, Богдан Карлович, оставить всё дело в тайне, – промолвил я с видом человека, доверившегося совершенно чудаковатому немцу, – Ведь я похитил несчастную свою сестрицу из дома мужа-злодея. Безжалостный так жестоко терзал свою жену, что и до смерти убил бы, не вмешайся я и не уговори её бежать. Бедняжка лишилась дара речи, и всё от грубости негодея, от страха кулаков его. Лыщусь, вы, как скромный и добрый человек не проговоритесь нигде и ни перед кем – злодей знатен и может найти способ сыскать нас. Тогда он совсем погубит сестрицу!

Богдан Карлович за известную плату на всё согласился, а пользовав больную, вышел от неё потрясённый.

– Судить злодей! Повесить злодей! Здесь не самоед, здесь просвещённый росс, он имеет закон! Идти к губернскому прокурору! – повторил он дрожащим голосом, трясая бубнами дешёвого нелепо-жёлтого парика и пристукивая палкою, подходящей более на клюку, чем на трость.

– Ведь уж я говорил вам, добрейший Богдан Карлович, молчать – единственно верный способ доставить покой Лизавете Романовне. Хождения по прокурорам и властям, когда бы еще имели успех. Между тем, я не мог медлить, не то бедная жертва жестокости изверга, лишилась бы не только дара речи, но чего доброго и рассудка. Вы обещали мне тайну, не так ли? Вы не откажетесь ведь подтвердить? Согласитесь – покой – первое для больной лекарство.

– Покой, покой и покой, сударь. Делать всегда приятно – гулять тихо, на качелях – тихо, катать лодка – тихо, лошадка – тихо, все всегда – тихо. Рука одна цела хорошо, другая – покой. Кость молода, здорова скоро, завязал, поправил изрядно. Рана, причинённый кнут, чтоб гной излечить, всякий день новый примочка. Сам я делать.

– Спасибо, Богдан Карлович. Не можете ли и горничную Лизавете Романовне прислать? Мы никого не знаем тут.

– Прислуг в городе не мало, господ – мало. Сыщите без труда. Лизавета Романовна встретила меня поданною бумагой. Какие красивые литеры, что за росчерки! Что бы они значили? Явно всего два слова. Первая буква возможно «Г», возможно иная. Второе слово состоит из одной буквы? Или вторая – этот завиток сверху первой? Ах, она очень походит на «ы». Я чувствую, что по мере того, как я смотрю во все глаза на прелестные литеры, теряю во мнении Лизаветы Романовны. Внезапное вдохновение позволяет мне догадаться: «Кто вы?».

– Я сын капитана, – вспомнил я офицерскую школу отца и спохватился, что ответ, несмотря на привлекательную правдивость, очень неудачлив – в мои годы рекомендоваться чьим-то сыном не личит.

«Капитан гвардии? Какого полка?»

– Нет, Лизавета Романовна, отец мой не имел счастья служить в гвардии, он служил очень, очень далеко.

Кажется, она разочарована. Надеялась на возмущение гвардейцев?

«Чего вы хотите?»

– Только вашего счастья.

Выражение досады мелькнуло в глазах её. Считает лжецом? Следующие литеры подтвердили это подозрение.

«Лекарь объявил сей город Астраханью, а нынешнее число – десятым днем июля. Правда ли это? Ежели правда, как сие могло сделаться? Говорите правду».

Три раза писанное в короткой записке слово «правда», холодный приём мне оказанный, точно я стоял не перед избавленной мною жестокой казни, но оправдываясь перед сыском, мысль, что в поступках моих Лизавета Романовна может подозревать корыстный умысел, отняли у меня благоразумие. Я вспыхнул и сбивчиво заговорил:

– Простите, Лизавета Романовна, верно, вы очень утомлены. Ежели угодно, я могу дать все разъяснения назавтра, ибо они потребуют от вас времени и внимания.

Нетерпеливым жестом она просила продолжать.

– Приходилось ли вам читать повесть о великом Цезаре, Александре, ином древнем герое? То есть, разумеется, приходилось. Представьте себе некую деву, пленившуюся образом столь изрядным, и предпочитающую его всем лицам, её окружающим. Представьте также, что в дни её, некий инженер доставил способ переноситься в века, а также и экипаж, способный преодолевать многие версты пути в самое непродолжительное время. Последний я могу представить вам, ежели угодно – он ничего более, как механизм, замещающий силу многих лошадей.

Лизавета Романовна остановила меня жестом исполненным негодования и указала дверь. Я поклонился (вероятно очень неловко) и вышел вон. Верно я гляделся помешанным во время своей речи. Впрочем, неважно.

Необходимо было скорее доставить Лизавете Романовне горничную, которая могла бы стать ей лицом доверенным, а буде возможность – и приятным. Долго шатался я по городу в поисках столь изрядной девицы. Нельзя было пожаловаться на недостаток последних, особенно из среды татарской и армянской, но каждая мнилось мне, не могла оправдать высокой чести. Смеркалось, когда увидел я в одном из дворов подле кузни, молодую девушку, одевавшую кур зерном перед тем, как загнать в птичник.

Гладко зачёсанные русые косы были туго повязаны алой материей, подобно шапочке уроженок восточных провинций, но черты лица, легкий стан, выговор, с которым она подзывала птиц, не оставлял сомневаться в её русском рождении. Её лицо, голос, весь облик излучали столько тихости, мягкости и приятности, что я приостановился. Подле кузни несколько мальчиков играли, с двух десятком шагов разбивая метко брошенной палкой сложенные из деревянных чурок крепости.

Две женщины вынесли из-под клетки тяжёлый котёл и принялись оттирать его песком, исподлобья поглядывая на меня.

– Здравствуй, голубушка, – обратился я к девушке, – Ты верно не откажешься от пяти рублей в год за службу доброй барыне – моей сестре?

В самом начале моей речи девушка задрожала, выронила лукошко с кормом и метнулась в избу. Куры, всполошенные резким движением благодетельницы своей, с кудахтаньем заматались по двору, обдав меня вихрем и украсив чулки приставшими перьями и пометом. Мальчишки, бросив игру свою, посмеивались между собой. Бабы уволокли котёл обратно подклеить. Я подумывал уже повернуть со двора, как дверь в избу распахнулась и из-за неё показался здоровенный мужик.

– Чего надо? – спросил он очень невежливо.

– Я ищу горничную для своей сестры, как мы недавно в городе, – отвечал я, задетый его нелюбезностью и тоже не здороваясь.

– Много нынче в городе всякого басурманского народу, – заметил мужик, – Всяк на двор чужой ноги заносит, как в свою вотчину.

– Я не басурманин, – отвечал я, сунув руку в карман за паспортом, – И не имею привычки обходиться с добрыми людьми неучтиво, напротив, предлагаю изрядную плату...

– Ах ты, шлэнда, беспутник! – загремел мужик, истолковав мой жест, верно, как желание показать ему червонец, – Отцу ещё смеет сулить! Позором накрыть дом мой ладишь?

Он схватил вдруг крепкий посошок, стоящий у дверей, и ринулся с крыльца на небывалого обидчика. Я не двигался и наблюдал его.

– Ежели вздумаешь учинить какое оскорбление и бесчинство, буду иметь приносить вину твою властям, – сказал я строго.

– Сам я до губернатора дойду! – запальчиво крикнул мужик, – Ты же, пакостник, безобразничаешь, ты же и суда ищешь! Да губернатор наш не таков, чтоб бездельника ласкать, будь он хоть богаче царя Соломона. О мичмане Мещерском слыхал, небось!? Так то, вникни, хоть и беспутный, а все ж таки князь. А ты что!? Тебя не только на лед – на «кобылу» усадят! На ней тебе и место! Срамные места как порушили по всей губернии, так и толкнуться, бесстыжая твоя рожа, видать тебе некуда!

Опасаясь невыгодной огласки, я спешил прервать речь расходившегося отца. Раздаваясь всё громче, она заставила уже отвориться некоторые окна и двери, за которыми показались любопытные физиогномии.

– Прости, добрый человек, я думал найти сестре своей заботливую девушку, да видно не задалось.

– То-то «не задалось». Ещё, тебя, шаматона, не токмо на дворе – на улице супротив ворот моих увижу... – слышал я за спиной ворчание сурового мужика.

– Что глядите по оконьям, свиные вы рыла! – гремел его голос, в то время, как я выбрался на улицу, – большак отвернись, так работы бы и век не видать?! Грому нет на вас!

И долго ещё бушевал, расходившийся «большак». Верно не без подзатыльника отправились в дом невинные свидетели конфузы, мальчишки, сшибавшие деревянные крепостицы, верно крепко наказано было красной дочке не сидеть под окнами, не внимать речам галантных вертопрахов.

Таким образом, снова принуждён был я отправиться к Богдану Карловичу, и он столь любезен был, что уступил мне одну прислугу свою. Такой поступок, хотя стоил мне доброй части имевшихся на руках денег, тем был достойнее, что всей прислуги у лекаря было двое людей: кучер, исполнявший также обязанности лакея, повара, и все иные случающиеся, и дочь его – девица лет около двадцати, с лицом умным и скромным, но побитым оспою. Она, обыкновенно, ведала за «добрым смотрением платья» Богдана Карловича, то есть стирала ему и обметала комнату. Хозяин не собирался совершенно расстаться с нею и тем глубоко огорчить отца девицы, а сам – лишиться пары ловких рук, и уступил на время, в «аренду». Окончательно судьбу девицы должен был решить хозяин ее. Дело в том, что оба – отец и дочь – были крепостными людьми бригадира Кикина, и прикомандированы в дом лекаря за оказание им исключительной Кикину услуги – спасением от оспы сына бригадира, от какого случая пострадал сам лекарь, лицо которого всё изрыто было лопатою грубой сей гостыи.

Горничной Лизавета Романовна очень была рада, и та почти всегда неотлучно при ней находилась. Звали её Федосьей. Я объяснил ей, что от дурного стола и обхождения мужа-злодея, Лизавета Романовна имеет желудок весьма слабый, требующий принимать пищу только мягкую, малыми порциями и почаству. Каких только паштетов, желе, киселей и прочих приятностей стола я не выдумывал! Федосья оказалась очень искусной и старательной исполнительницей моих замыслов, для которых посыла я Омегу всякий день в лавки. Он возвращался со свежими сливками, спелой полевой клубникой, грецкими орехами, фисташками, инжиром. Всё это перемалывалось в пыль и высыпалось в фарфоровую мисочку, наполненную сугробами взбитых сливок. Федосья имела приятной обязанностью пробовать подаваемые госпоже своей кушанья, отчего имела нелицемерное радение к неленостному изготовлению оных. Сам же я, наблюдая экономию, довольствовался тарелкою щей с куском хлеба и приказывал Омеге ту же умеренность. Последний, скучая на новом месте, всё более на меня был сердит, и всё чаще посещал трактир, пока, наконец, не объявил, что нанялся к какому-то казачьему атаману, набиравшему себе команду, чтоб идти отмежёвывать чьи-то башкирские владения. Я не совсем поверил благонамеренным целям экспедиции, но спорить не стал, так как примечал, что Омега весьма не по нраву пришёлся Лизавете Романовне.

– Как в Петербург переберёшься – явлюсь за обещанным, так что не прощаюсь, – сказал Омега, складывая свой мешок.

– До встречи, – отвечал я.

Как оказалось, тайна несчастного замужества Лизаветы Романовны не осталась похороненною в груди доброго лекаря. Через какую-нибудь неделю, весь город говорил о ней (разумеется, под строжайшей тайною). Но это служило к пользе нашей – все жалели мою «сестрицу», выражая симпатии свои тем, что не задавали никаких вопросов, могущих повлечь тяжелые для неё воспоминания, и держали себя таким образом, словно появление наше в Астрахани – дело самое обыкновенное.

Даже, однажды, выходя с Лизаветой Романовной от обедни из Троицкой соборной церкви, услышал я за спиною шёпот супруги бригадира Кикина – одного из деятельных помощников губернатора по делам наместническим:

– Какого же чину тот негодяй?

– О том и поминать не годится, ниже мыслить. Разве мало ей на долю выпало? Что нам в её имени? Нет, хоть у нашей сестры и долог язык бывает, а не выронит слова, могущего повредить ей. Её грешно не полюбить! – отвечал голос подруги.

– Ах, это верно, – отвечала бригадирша, – как хороша и после всех бедствий своих! А как добра, должно быть, и тотчас видно – из знатных.

– Братец на неё походит, но куда не так величав, и верно, здоровьем не крепок.

За сими словами, которые я расценил, как лестные, народ, спускавшийся толпою с паперти, разделил нас с идущими об руку подругами и не дал дослушать разговор их.

Лизавета Романовна, казалось, приняла мое покровительство не слишком охотно и никогда не поощряла меня продолжить объяснения всего произошедшего. Я не смел навязать разговор, но всё-таки счёл за долг свой составить довольно толковую записку, в которой изложил кратко все имеющие произойти события, с указанием дат смерти государя и государыни, опалы и казни врагов Лизаветы Романовны, возможные наши действия в том и ином случае, предоставляя совершенно во власть Лизаветы Романовны решить когда и как ей следует воротиться ко двору, ежели ей то угодно будет. Как было принято мое донесение не знаю – Лизавета Романовна никогда о том не открыла.

На мои глаза, она была очень задумчива и печальна, если когда и можно было увидеть на лице её тень улыбки или оживления, то весьма нечасто и лишь в обращении с Федосьей.

Последняя очень привязалась к своей госпоже и, между прочим, весьма быстро выучилась от неё грамоте – иначе как письмом нельзя было им вести разговор. Понятливость и природная учтивость Федосьи очень скрасили дом наш для Лизаветы Романовны, о чём я радовался всем сердцем, ибо сам, стремясь избавить «сестрицу» постылого своего общества, старался как можно дольше быть в школе.

Латинский монах, устроивший моё учительство, не однажды навещал меня во время школьных занятий и подолгу беседовал о достоинствах римской веры. Я встречал такие речи с неизменным равнодушием и даже указывал, иногда, на опасность, могущую приключиться монаху от таких разговоров.

– Ну, а если его преосвященство владыка прознает?

Брат Феликс никак не внимал моим советам, а раз, привёл себе на подмогу новобранца, завербованного в войны его святейшества.

То был полный юноша, белокурый, со светло-голубыми глазами на выкате, которые он не сводил со своего учителя.

– Вот мой любимец, – отрекомендовал его брат Феликс, – он хотя и из поповской семьи, а вере римской привержен всем сердцем и льщусь видеть его в ограде святейшего нашего отца.

Юноша не преминул ответить на похвальную рекомендацию звучным поцелуем руки брата Феликса.

– Прочти же господину учителю свои вирши.

– Какие прикажете?

– Те, что брату Патрицию, господину начальнику миссии нашего ордена, преподнёс ко дню окончания вакаций.

Юноша вытаращил глаза ещё сильнее, чем то угодно было произвести натуре и, закатив их под лоб, произнёс с одушевлённым подобострастием:

Когда б не все твои блага, учёба,
То не хотел бы и покинуть гроба!
О, скольких ты спасла от тьмы
могильной!
Не к деве будет склонность моя сильной,
К тебе одной, души моей отрада,

Моей чиниться станешь ты по нраву,
Не только по приказу, по уставу!

– Ведь едва не силлабический стих! Вот так всё чини, что к чести словесности быть может, как стихами, так и не стихами! Отныне, Василий Кириллович, поручаю тебе переводы французские и иные – все что тебе дадутся.

Юный Василий Кириллович, верно, впервые услышал своё имя, так пышно звучащим, ибо едва не прослезившись, сделал движение вторично приложиться к руке покровителя, но не был допущен последним, расцеловавшим его в обе полные, белые щеки.

В этот момент в комнату нашу заглянул унтер-офицер Бортников – главный надзиратель гарнизонной школы.

– Прошу прощения, господа, – сказал он, сумрачно глядя на новопроизведённого переводчика, который при появлении его весь как-то обмяк, – по учинённому мною розыску, груши из губернаторского сада, унесли не токмо господа ученики Ворохтеев и Покровский, но и господин ученик латинской школы, что при миссии ордена капуцинского, сын Кириллы Яковлевича, попа Троицкой церкви – Василий.

Брат Феликс растерянно повёл глазами на своего любимца.

– Нет, господин учитель, нет, – лепетал тот прерывающимся голосом.

– Нет? – усмехнулся Бортников, – а что вы на сей предмет, сударь, ответить имеете?

Он достал из кармана маленькую тетрадку из дешёвой бумаги с выведенным заглавием «Любовная пустельга. Сочинение В.Т.»

Брат Феликс всплеснул руками.

– Найдено под обобранными грушами в помянутом саду.

– Не я, не верьте, господин учитель! – завопил несчастный преступник, и ничего ещё не видя, залился слезами, – верно, тот Покровский у меня выкрал тайком и, как груши таскал, так и бросил – к моему вреду, не иначе.

Офицер изменился в лице, глаза его вспыхнули.

– Вы сударь, негодяй, каких отродясь не видал я! Тебя берёзовой кашей каждое утро, после молитвы, кормить в волю нужно, так может, милостью Божьей, и поправишься! Сей Покровский сказывал де, не ведает чья тетрадка нашлась в губернатора саду, а я его усовещал: «признайся с кем учинил проказу – сечь не станут», а он мне: «не стану подлинничать, господин офицер». И принял экзекуцию, а тебя, подлеца, не выдал – вот ведь что есть товарищество истинное и приятельство! Не унимайте меня, господин учитель, – крикнул он с сердцем, на умоляющий жест брата Феликса, – вы хоть и духовное лицо, а русского сердца понять, не умеете! Не вверенной мне школы ученик, потому сами рассудите, как с ним поступать надлежит, а, по-моему – мало ему розги.

Он швырнул «Любовную пустельгу» на стол и, поклонясь слегка, вышел.

– Как мне благодарить, господин учитель?! Во всю мою жизнь... толикие благодеяния, явленные, можно сказать, в самой пасти грубого невежества и бесчеловечия...

– Простите меня, брат Феликс, – прервал я поток красноречия юного пииты, – скоро начнётся урок мой, я принуждён проститься.

– До свидания, сударь, – отвечал тот, – и самому мне время воротиться – обещал Джованбаттисту Примавере, что словесность у нас ведёт к обеду быть. Взять тебя к обеду, озорник? – отнёсся он к своему любимцу, – а «Пустельгу» эту, – он сунул ему злополучную тетрадь, – в огонь, и чтоб из головы выкинул!

– Всенепременно, господин учитель!

В те дни, взяв с собой несколько мальчиков, в том числе и помянутого Покровского, поехал я за реку в лодке, чтобы посмотреть ярмарку. Сия вольность пришлась как нельзя кстати – настала пора вакаций, которая в Астраханской школе после праздника Пасхи, дарящего уче-

ников двухнедельным отдыхом, начиналась только в конце июля месяца. На ярмарку съезжались калмыки для продажи своих лошадей. Было их тут от пяти до шести сот человек, и стояли они станом со множеством лошадей, которые паслись на воле, выключая тех, на коих они сами сидели. Кибитки их расположены были вдоль реки. Они имеют коническую фигуру и строены из шестов, наклоненных один к другому, у коих в верху оставлено отверстие для принятия света и для выпущения дыма. Сии шесты укреплены попере́к прибоинами, длиною от четырёх до шести футов, кои приколочены гвоздями; а всё сие прикрыто толстыми войлоками и сукнами. Они способны ко скорому поставлению, и столь легки, что один верблюд может их свести пять или шесть. Сии калмыки собою коренасты, и чрезвычайно сильны. Лицо имеют широкое, нос плоский, глаза маленькие чёрные, но весьма острые. Одежда их очень проста: она состоит в кафтане из бараньей кожи, который подпоясывают кушаком и в малой круглой шапке. Калмыки имеют обыкновение приближаться к Волге для сборищ своих когда вода сбывает. Иногда бывает им мало собственных стад, они терпят тогда нужду и это заставляет их решиться работать, чему весьма нелегко войти в голову кочевника. Как в странах мало населенных, плата за работу очень высока, так калмыки могли бы жить в довольстве, но одна только крайняя необходимость может их заставить чем-нибудь заниматься помимо природной своей заботы о многочисленных стадах.

Я видел многих кочевников, которые целый день шатались по городу, толпились по лавкам, или просто лежали на земле под палящим солнцем.

От сих-то калмыков, по рассказам, слышанным мною от некоторых офицеров, губернатору астраханскому вскоре по приезде его к должности, едва не пришлось быть убиту. Причиной к злодейству послужило то рвение, с которым губернатор принял участие в усилении власти сына владетельного хана Аюки – Царен-Дондука, человека которого во всём востоке похваляют за способность его и любовь к правосудию, и которого возвышение, по мыслям губернатора, было Российскому государству весьма полезно. Выбор нового владетельного хана или, как назвал все событие сам губернатор «конгресс», происходил следующим порядком.

Обширнейшие пространства восточных провинций почти вовсе не контролировались русскими войсками, наместникам нашим немало заботы было сохранить покой между калмыками, киргизцами и иными «ясычными народами». Еще по дороге к вверенной ему провинции, астраханский губернатор начал составлять перечень мер необходимых для благоустройства ее. Некоторые из них, касавшиеся до строительства верфи, учреждения школ и подобные, кои исполнить можно было собственными силами, произведены были тотчас же, другие – через многие годы, в царствование Екатерины Великой. К последним относились, между прочим, прокладка сети станционных трактов, доставляющих трепетному путнику безопасные средства к сообщению между редкими поселениями и смелый по размаху проект устройства конных заводов для выведения собственной русской породы лошадей. Она, точно, была со временем получена и названа «орловскою».

Установление согласия и покорности русскому наместнику между населяющими губернию кочевыми племенами почитал губернатор основой благополучия всех принятых им нововведений. Для того, чтоб склонить прочих ханов к желанному решению, он кормил и поил несметные толпы в степном становище их на речке Сапуновке более двух недель, одаривал всякой всячиной, как-то: пуговицами и лентами для украшения платьев жён и дочерей их, предметами, пригодными для варки пищи; ибо калмыки, довольствуясь сыроедением, почитают варёную пищу за лакомство, и даже порохом. Последний, однако, скоро был употреблён ко вреду дарителя.

Как скоро перевеса голосов подгулявших старшин не хватило, а запас подарков, браги и баранов подходил к концу, терпение губернатора истощилось, и он заготовил царский указ, якобы присланный ему с нарочным от самого государя, и дававший решительную привилегию ставленнику Аюки. Начертав под текстом сей хартии «Пётр», губернатор объявил, что не может

противиться царской воле и привёл оробевших калмык к присяге. Вожди их поклялись, полагая поочередно на чело статуэтку своего божества Шакьямуни бурхана, «служить его императорскому величеству и наследникам его, удерживать подданных от противностей государю, не иметь связей с неприятелями его величества, во всем покоряться русскому наместнику, пресекать воровство и грабёж, где бы не сыскали оные».

Шакар-Лама, как единственный грамотный человек из среды калмыцких вождей, подписал документ и приложил печать Дондука. Противники же Аюки, видя явную погибель честолюбивым своим замыслам, поклялись той же ночью, что последовала за провозглашением первенства Дондука, не выпустить губернатора из становища живым, для чего принуждён тот был спастись с несколькими своими людьми в лодках, кинув свои шатры и лошадей.

Выведя лодки за темнотою на середину реки, с обеих берегов которой неумолкающие выстрелы и мелькание огня, удостоверяло в невозможности найти там приют, губернатор провёл тревожную ночь, а за тем и целую неделю, в продолжение которой отбивался несколько раз от попыток захватить его или убить. Только по истечению этого срока удалось ему и людям его – исхудавшим и измученным, ступить на берег.

Враги Аюки и сына его, а с ними и прочие возмутители спокойствия вверенных губернатору земель скоро затихли, удовольствовавшись умелым и своевременным поднесением им кнута и пряника, и совершенный покой водворился в окрестностях города, так что я с учениками своими, совершенно безопасно, отправлялся в самые становища кочевников. Там смог я позабавить своих питомцев, к которым очень привязался, сценами национальной борьбы калмыцких молодцов и скачкою на лохматых низкорослых лошадаках их. Последние, впрочем, весьма выносливы и быстры. Встречаются и лошади хорошего роста. Как начинают их обучать на шестом году, то бывают они чрезвычайно упрямы и бешены. Продаются они на ярмарках по шестнадцать рублей и больше, ежели они высоки ростом и ходят иноходью. Обыкновенных верблюдов у них мало, а великое множество так называемых дромадеров. Продажа последних также приносит кочевникам не мало доходу.

Между прочим, достоинства калмыцких лошадей пригодились и в одном произошедшем в ту пору случае. Какой-то солдат гарнизона крепости, скучая своей службою, пленил красотою мундира своего и стана калмыцкую девушку. Склонность её оказалась столь жаркой, что, не надеясь склонить к свадьбе отца своего, отправлявшего у калмыков обряды их веры, она решилась бежать от родного народа и закона, что и исполнила, не снесясь о том даже и с женихом. Такая спешка случилась виною непреклонного отца, задумавшего выдать дочь за постылого ей человека. Приметя непокорность дочери, отец думал было лишить её свободы до самой свадьбы, но опоздал – проникнув в его намеренья, смелая девушка свела его лучшего коня и ускакала ночью в город. Удачливый служитель Венеры и Марса, ставший причиною её побега, немало изумлён был происшедшим, ибо, хотя, точно: «девке той говорил, что не прочь от венца, николи же того не чаял». Дело, однако, приняло серьёзный оборот. Девушка просила начальника гарнизонного о крещении – калмычка, находящаяся во тьме язычества, просила просветить её светом истины, о том было доложено правящему архиерею и губернатору, от которых последовало предписание «ту девку учить православной вере, крестить и устроить ей честное жительство». Последние учинилось венцом новообращенной христианки с помянутым солдатом. Отец невесты думал было искать суда, но отъехал от полицейской канцелярии с приказом «пустого не затевать и за дружбу счесть, что за приданым солдат не пришлют».

Я с Лизаветой Романовной зван был на свадьбу, ибо жених приходился родным дядькой одному из моих учеников – знакомство вполне достаточное для приятельства, по нравам места и времени.

Невеста убрана была по обычаю своего природного племени. Волосы у неё были заплетены вокруг всей головы; но задняя её коса была длиннее всех прочих, и оканчивалась шёлковую красною кистью, по середине которой висел маленький медный колокольчик. Голова

её покрыта была сеткою, обнизанною змеиными головками, и обвешана малыми серебряными монетами, что у неё заменяло место алмазов. Сверх этой сетки возвышался на голове её теремок из кисеи, наподобие гренадерской шапки, и оканчивался шёлковой кистью с колокольчиком, который звенел каждый раз, когда она ни повёртывала голову. После венца, столы устроились перед двором церковным, во всю улицу, ибо, гостями были не только офицеры и солдаты гарнизона, многие с семействами своими, но и ученики и учителя гарнизонной школы, иной народ разного чину.

Лизавета Романовна заметно скучала множеством подблюдных песен, обрядных вопросов и ответов, чествований «павы» и «соколика» с необходимыми плачем, воем и величанием, бесконечными пожеланиями «в злате, яхонтах ходить, людям серебро дарить». Наконец, после иных многих, настала и учителям беда произнести приличные случаю панегирики. По знакам, подаваемым мне Лаврентием Жильцовым, понял я, что немалую окажу ему любезность, взяв на себя сей труд.

– Как уже много сказано похвал, хотел бы я невесту восхвалить, да чем начать, не знал.

«Как роза ты нежна, как ангел хороша,
Приятна как любовь, любезна как душа;
Ты лучше всех похвал; тебя я обожаю.

Нарядом мнят придать красавице приятство
Но лъзя ль алмазами милей быть дурноте?
Прелестнее ты всех в невинной простоте:
Теряет на тебе сияние богатство.

Как по челу власы ты рассыпаешь чёрны,
Румяная заря глядит из тёмных туч;
И понт как голубый пронзает звёздный луч,

Так сердце глубину провидит взгляд твой
скромный.
Но я ль, описывать красы твои дерзая,
Все прелести твои изобразить хочу?
Чем больше я прельщен, тем больше я молчу:

Собор в тебе утех, блаженство вижу рая!
Как счастлив смертный, кто с тобой
Проводит время!
Счастливей тот, кто нравится тебе.
В благополучии кого сравню себе,
Когда златых оков твоих несть буду бремя?»

При сём вопросе украдкою обратил я к Лизавете Романовне глаза свои, ища одобрения читанным виршам, а может и не только им, впрочем, это неважно. Она казалась изумлённою и в то время, как я принимал дань моему поэтическому гению от учителей и офицерства, написала грифелем на аспидной досочке, с которою никогда не расставалась: «Давно ли складываете вирши?»

Я отвечал было утвердительно, но был тотчас жестоко угрызён собственной совестью и прибавил письменно же, чтобы другим не в примету было:

«Слышанные вами вирши писаны господином Державиным. Ему родиться в 1743 году, он станет знаменит. Сейчас представлю вам другие вирши его, лучше первых».

– Хотите ли, господа офицерство, ещё виршей?

Встретив одобрение, я встал и как мог лучше продекламировал:

«Рафаэль! живописец славный,
Творец искусством естества!
Рафаэль чудный, бесприкладный,
Изобразитель божества!

Умел ты кистию свободной
Непостижимость написать, —
Умей моей богоподобной
Царевны образ начертать.

Изобрази ее мне точно
Осанку, возраст и черты,
Чтоб в них я видел и заочно
Ее и сердца красоты,

И духа чувства возвышенны,
И разума ее дела:
Фелица, ангел воплощенный!
В твоей картине бы жила.

И зрел бы я ее на троне
Седящу в утварях царей:
В порфире, бармах и короне,
И взглядом вдруг одним очей

Объемлющу моря и сушу
Во всем владычестве своем,
Всему дающу жизнь и душу
И управляющую всем.

Чтоб свыше ею вдохновенны
Мурзы, паши и визири,
Сединой мудрости почтенны,
В диване зрелись как цари;

Закон бы свято сохраняли
И по стезям бы правды шли,
Носить ей скипетр пособляли
И пользу общую блюли.

Она б пред ними председадала,
Как всемогущий царь царей,
Свои наказы подтверждала
Для благоденствия людей.

Изобрази ты мне царевну
Еще и в подвигах других:
Стоглаву гидру разъяренну
И фурий от земель своих

Чтобы гнала она геройски;
Как мать, своих спасала б чад;
Как царь – на гордость двигла войски;
Как Бог – свергала злобу в ад.

Чтобы ее бесстрашны войски,
От колыбели до седин,
Носили дух в себе геройский,
И отрок будто б исполин

Врагам в сражениях казался;
Их пленник бы сказал о них:
«Никто в бою им не равнялся,
Кроме души великой их».

Из уст ее текла бы сладость
И утешала стон вдовиц;
Из глаз ее блистала б радость
И освещала мрак темниц;

Рука ее бы награждала
Прямых отечества сынов;
Душа ее в себе прощала
Неблагодарных и врагов.

Приятность бы сопровождала
Ее беседу, дружбу, власть;
«Бросай кто хочет, – остры стрелы
От чистой совести скользят;

Имея сердце, руки белы,
Мне стыдно мстить, стыднее лгать;
Того стыднее – в дни блаженны
За истину страшиться зла:
Моей царевной восхищенный,
Я лишь ее пою дела».

Но что, Рафаэль! что ты пишешь?
Кого ты, где изобразил?

Не на холсте, не в красках дышишь,
И не металл ты оживил;
Я в сердце зрю алмазную гору,

На нем божественны черты

Сияют исступленну взору:

На нем в лучах – Фелица, ты»!

– За государыню-матушку, господа офицерство – ура!

– Виват! – закричали все, – Виват государыне-императрице! Я вторично глянул на Лизавету Романовну. Она сидела опустя голову и грифелем выводила на досочке вензель. Я вгляделся – то был вензель графа N – первого предмета её привязанности. Теперь граф, опасаясь, что несчастья Лизаветы Романовны, коснутся и его, за границей, в родной Саксонии, но, конечно, при благоприятном течении событий, не замедлит вернуться. Верно, будет вызван самой Лизаветой Романовной. Если бы то было в силах моих, граф бы сидел подле неё теперь же на этой бедной свадьбе, среди этих простых людей, пожалуй, и в качестве её жениха – только бы увидеть радость, признательность, доверие в её взорах.

Огорчённый печалью Лизаветы Романовны, я задумался, и не вдруг услышал требования от меня ещё стихов.

– Полно чиниться, любезный Кондратий Романович, – не унимался инженер Карповицкий, – складываете столь изрядные вирши и прячете их под полою.

– Увы, господа, вирши – не мои. Но их составитель ещё более скромн, нежели декламатор – ни за что не желает быть объявлен. Я поклялся ему сохранить тайну.

– Круг Кондратия Романовича всегда витают тайны, – заметил Жильцов, подмигнув друзьям, – но ежели имя стихотворца и тайна, самые стихи услышать не возбраняется?

– Подчиняюсь, государи мои.

«Я милость воспою и суд
И возглашу хвалу я Богу;
Законы, поученье, труд,
Премудрость, добродетель строго
И непорочность возлюблю.

В моем я доме буду жить
В согласи, в правде, в преподобьи;
Как чад, рабов моих любить,
И сердца моего в незлобии
Одни пороки истреблю.

И мысленным очам моим
Не предложу я дел преступных;
Ничем не приобщуся к злым,
Возненавижу и распутных
И отвращуся от льстецов.

От своенравных уклонюсь,
Не прилеплюсь в совет коварных,
От порицаний устраниюсь,
Наветов, наущений тайных,
И изгоню клеветников.

За стол с собою не пущу

Надменных, злых, неблагодарных;
Моей трапезой угошу
Правдивых, честных, благонаравных,
К благим и добрым буду добр.

И где со мною ни сойдутся
Лжецы, мздоимцы, гордецы, —
Отвсюду мною изженутся
В дальнейшие земны концы,
Иль казнь повергнет их во гроб.

Чтением этим я угодил окружающим более прежнего, а Жильцов с одушевлением убеждал меня преподнести вирши самому губернатору, под видом оды. «Он сам – точно с натуры писано» – переговаривались мои доброхоты.

– Назовите сии вирши «Праведный судия» – подсказал канцелярист Теплаков, – или «Нелицемерный судия».

– Вы правы, Александр Семёнович, поэт так и назвал эти вирши: «Праведный судия».

С тех пор не раз читывал я Державина, Ломоносова и Сумарокова перед Лизаветой Романовной и неразлучной её Федосьей. Конечно, хотя я и весьма увлекался перечисленными поэтами, на память знал далеко не всё, да иногда и перевирал, и сокращал то, что читал, но слушательницы мои, разумеется, не могли того приметить. Часто казалось мне досадным, читать только чужие стихи, и я пытался составить собственные, но что они были в сравнении со строками помянутых авторов!

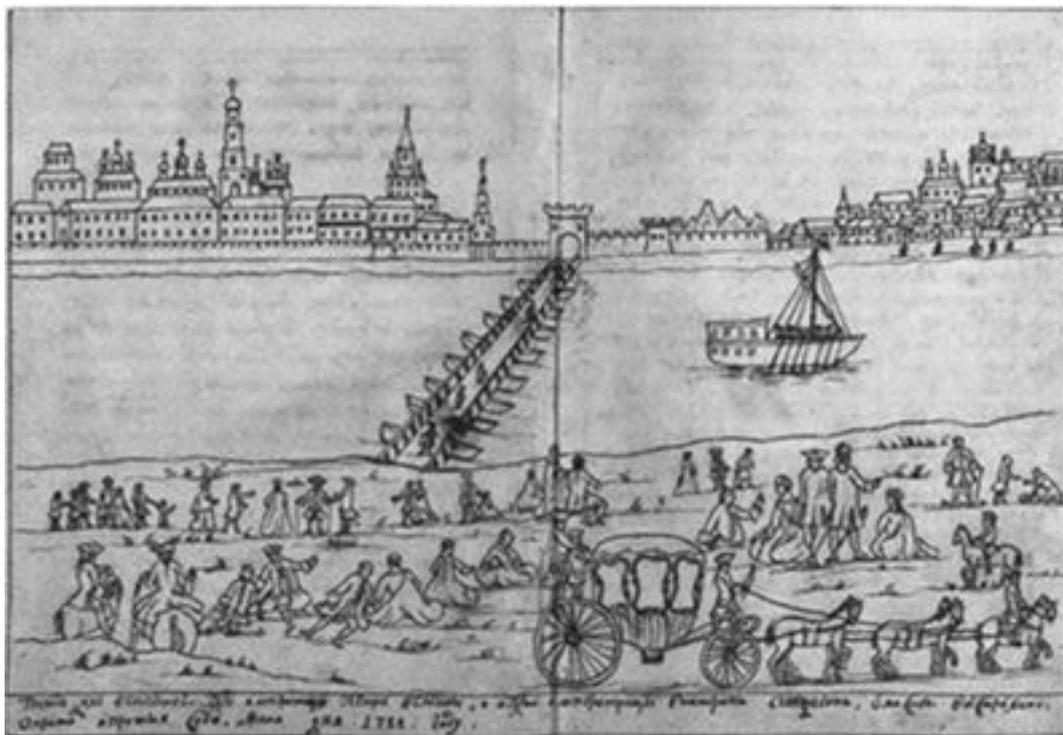
«... манит меня сия чудесна тайна,
и радостью дарит необычайной,
гласит она «отдай всё – и пребудет,
себя сгуби – и не убудет».

Кончаю я постылую разлуку,
Откладываю я сердечну муку,
Как долог, скушен, сер был век унылый,
Но как искрится он перед могилой!

Увижу тень заветну, милые черты,
Воскликну в счастье я:
«Там парадиз, где ты!»

Я не читывал и не показывал своих стихов, хотя мне приходила в голову мысль выдать их за неудачные вирши Сумарокова. Но представляя себе, что должен буду хитрить в глазах Лизаветы Романовны, я так бывал поражён страшной картиной изобличения моего, которое казалось мне неминуемым, что всякий раз удерживался от своего желания.

Глава III Астраханский губернатор



Погода стояла обыкновенно тихая, самая благоприятная для комаров и мошек, что роятся тут легионами. Иногда, прогоняемые ветром, налетавшем с моря, в другое время они досаждают не только охотникам, за дрофами и турланами бродящим по камышам, но и на самый городской рынок забираются. Купцы и мужики, запирая вечером свои лавки, бывали щедро украшены вздувшимися и окровавленными следами нападений сих врагов. По утру же воздух бывал от мошек свободнее, солнце не жгло нещадно, тишину улиц редко ещё нарушали шаги поспешающих к своему делу жителей. В такой час я выбирался из жилья и отправлялся на прогулку за заставу вдоль городской стены, оканчивая свой путь у базарной лавки, где покупал что-нибудь приятное к столу Лизаветы Романовны.

Однажды, проделывая обычный свой путь, увидел я красавца-всадника, направляющегося в город. Ни дать, ни взять сказочный царевич со знаменитой картины Васнецова «Иван царевич на сером волке». Две польские собаки бежали перед ним. Одной рукой правил он лошадью, другою – любовно придерживал сидящего на рукавице кречета. Как схожи хозяин и птица смелым взором, как ярко выражение правды и благородства разливается по всему их облику! Гордая ли птица обернулась дивным витязем, или красный молодец ясным соколом? Всадник заметил меня и пришпорил лошадь. Несколько человек свиты его, которой я, восхищенный предводителем, сначала не приметил, поспешили следом. Кречет беспокойно дернулся, колокольчик звякнул в хвосте его.

– Не тревожься, Колубей, – промолвил всадник и добавил приветливо ко мне, – Прекрасный день, господин путешественник! Вы, верно, недавно в Астрахани? Для приятности познания сих мест или для иного дела?

– Благодарю, сударь. Я здесь, точно, для приятности познания, – отвечал я, смутившись внезапному знакомству и не зная до чего отнести знаки, подаваемые мне из-за спины моего собеседника, одним из челядинцев его, широкоскулым, очень сметливым на вид молодым татаринном.

– Познание ваше касается ли описания географии, истории или может служить к сведениям о народах сию землю населяющих? Сколько в иностранных книгах о том ни писано, ко славе российской служить не может, потому что сочинители тех книг, яко иностранцы, которые в России ненадолго пребывание имели и Российского языка довольно не знали и довольно способов к такому важному делу не имели, также иногда, следуя своим пристрастиям, сущей правды не высмотрели, или иные, и не бывши в России, к описанию об оной устремились, и одни из сочинений других выписывали или неосновательным разглашениям поверили, или только то, что в публичных ведомостях объявляется, за основание приняли. Из чего явно, что такие историки ничего обстоятельного, совершенного и достоверного написать не могли. Но паче всего сожаления достойно, что они разумный свет толикими неправдами оповещают, а тот им и верит. Вот кабы кто из русских людей, совестливых, просвещенных и дельных за такой труд взялся, немалую пользу отечеству принёс, а имени своему – честь.

– Господина Татищева разумеете, господин полковник? – подсказал тот же челядинец, что подавал мне знаки, и я догадался, что он желал сообщить мне высокий чин господина своего.

– Кого же другого, Василий? Конечно, его. Ежели к сему делу и описание географии о всей Российской империи сообщить, как оное историческим образом обыкновенно отправляется, то сие равным образом не бесполезно.

– Так-то оно так, государь мой, – отвечал татарин, – Оно точно, господин Татищев весьма просвещен, обучался и в Берлине, и в Дрездене, и в Бреславе, да только теперь столь отягощен делами по горной канцелярии, что не знаю сыщет ли сил к сочинительству. У него и тяжба с Демидовым, и по Егюшинскому да Уктусскому заводам хлопоты. Дороги торит через леса-болота, особливых для завода судейских учреждает, почту исправную, горные школы, инструкции по обереганию лесов...

– Всего не перечтешь, Василий, и не трудись. Однако, охота пуще неволи. Василий Никитич великий есть до истории охотник, притом и добрый патриот. А что до тяжбы с Демидовым, то он, слышно, ее авантажем своим покончил и теперь советник Берг-коллегии. Как о том мыслите? – отнёсся снова ко мне говоривший, – Ведь вы приезжий и не знаете ещё сей глухой стороны – здесь образованного человека за редкость встретить, и я такой редкости упустить не хочу. Не угодно ли будет у меня нынче обедать? Не угодно ли и имя своё назвать?

Я представился и узнал, в свою очередь, что говорил с самим губернатором Астраханским.

Тем же днём явился я к нему в дом, разумеется без «сестры своей, которая очень не может» и застал за «смотрением лошадей». Губернатор стоял на крыльце, перед которым конюхи заставляли бегать многочисленных обитательниц конюшни. Среди них были настоящие красавицы – представительницы берберийской, черкесской, персидской породы.

– Отчего у Метелицы бок колот? Опять к водопою место не поразчистили или прутья сучковатые в загородок пустили!? Так, Кузьма Степанов, ты мне всех лошадей, а паче молодых и норовистых переколешь!

– Как можно прутья негодные в загородок пускать!? Разрази меня гром, коли виноват! А к водопою сам всякий раз за лошадьми хаживаю. Дитя там не оцарапается, не песок – шелк.

– Так где же она так набрюшталась?

– Разве жеребец неаполитанский напугал? Такой шустрый, избави Бог! Метнулась, да обо что ни есть и напоролась.

– Разве я приказывал того жеребца к ней припускать!?

– Точно, прямо не приказывали, но как много жеребца того хваливали, я и заключил...

– «Заключил»... Ничего ты, Кузьма, не смыслишь и паче разумения своего чинишь. Вперед спрашивай, а от своего безумия не приказывай. Пусть тот жеребец стоит покамест особ-

ливо и отнюдь его к кобылам до лета не пускать. А что до Метелицы, то коли теперь ожеребится, никакой породы от нее уж будет не сыскать, и все твоей глупостью.

– Виноват, государь мой.

– Не крушись, знаю, от усердия учинил. Не всякое лыко в строку! А Голубь, смотрю, совсем оправился?

– Извольте видеть, как ходит – королей одних носить! Пятый год, в самой поре. Словно и не хворал никогда. Орел – не конь!

– Голубь, все ж таки не орел, но подведи – полетаю.

Губернатор прыгнул на неоседланного коня, «полетал» по двору, натешившись, бросил Кузьме повод вместе с приказом:

– За лошадыми изрядно глядишь. Ступай, скажи Василию пусть выдаст тебе сукна на кафтан.

– И вы, господин Засекин, желаете испробовать моих лошадей? – отнесся он ко мне, – Метелицу или Персефону возьмите – не покаетесь! Не хочу хвалиться, но ласкаюсь не приходилось вам и встречать таких.

– Благодарю, – неопределенно отвечал я, не зная, чем лучше зарекомендовать себя, неосторожной ли попыткой справиться с норовистой лошадейю или благоразумным отказом от подобной чести. Верно раздумье слишком явно отразилось на лице моем, губернатор улыбнулся.

– Вижу, вы не охотник до лошадей. Так идемте в дом.

Скоро сойдясь с семейством губернатора, состоявшем из супруги Александры Львовны и дочери Анютушки – девочки, едва выучившейся твердо ходить, я понял, что немалое утешение доставлю Лизавете Романовне, сделав ей это знакомство. Александра Львовна была дамою набожной, без малейшей тени ханжества или суеверия, образованной по-тогдашнему очень хорошо, изящной и милой. Какая красавица не отдаст внешние свои качества за такие превосходные свойства? Какой мужчина не преисполнится уважения и симпатии к особе, наделенной столь щедро? Пара эта напоминала семейство пернатых, в котором обыкновенно глава – весь блеск, сияние, величавость, а половина его – кротость, скромность, не броскость по виду, по серой простоте оперения, но драгоценность по сути, по своим свойствам. Александра Львовна умела отличать и подбирать в штат слуг людей честных, добрых, учтивых.

Удивительно ли что дом губернатора постоянно наполнен был гостями, приживальцами, попросту нахлебниками, которые приходили «речи господина губернатора послушать», а заодно и плотно пообедать. Все – от архиерея до пленных шведских солдат – находили тут радушный приём. Из числа последних составилась квартет музыкантов, отправлявших дело свое во время званых обедов. Число челядинцев постоянно возрастало.

«Ежели и прихоти все посметать, и тут кинуть, чтоб убраться всем двором одних подвод не менее двухсот потребно станет. Сто человек дворни, да семейных более сорока» – говорил губернатор о трудностях переезда в Казань, которую ему прочили по слухам из Петербурга в следующее губернаторство.

Ежели обед был званым, строго соблюдался чин его. Важность гостя уменьшалась по мере отдаления его от стула губернаторского, а если и происходила какая ошибка, лакей должен был все-таки распорядиться подавать кушанья правильно, и горе ему, коли он подал бы поручику прежде капитана. Иногда лакей не был уверен в чине гостя и кидал хозяину встревоженные взоры, тот одним взглядом наставлял недогадливого слугу на путь истинный.

Стряпал губернатору повар, родом персиянин, с которым губернатор сошелся в бытность свою посланником ко двору шаха Гуссейна. Не знаю, обаяние ли губернатора, несчастная ли доля в собственном отечестве, или иные причины убедили повара, но только он покинул Персию вместе с дочерью, крестился и был записан дворовым человеком посланника. Последний

сам был восприемником новообращенных, нареченных Иваном Артемьевым и Анисьей Артемьевой.

Знак креста, коим осенялись все присутствующие полагал начало обеда. Первый тост произносил почтеннейший гость и только после третьей перемены. Кроме венгерского и рейнвейна, подавались изготовленные крепостным умельцем настойки с «ингридиенцией» из трав и орехов. Пиво почиталось «подлым» напитком и никогда не подавалось к губернаторскому столу. Ведро его стоило в городе 15 копеек, и вообще дешевизна в Астрахани потрясала всякого приезжего. В Петербурге, Москве, Казани те же товары стоили в два, а то и три раза дороже.

Крендели и пироги с дикой и домашней птицей неизменно украшали стол. Печень, почки и прочие потроха в паштеты не употреблялись и почитались никчемной снедью – ею даром насыщались лица «подлого» звания. Разумеется, стол астраханского губернатора не мог обойтись без осетровой икры, приправленной уксусом, лимоном, шафраном и множества рыбных блюд. Но я замечал, что как последние были всем привычны то и ценились мало. Сырой лосось, одни спинки которого полагались годными, резался кусками, которые накалывались на вилку и вымазывались смешанными в особой тарелке маслом, уксусом, лимоном, перцем. Лучшею рыбою звалась стерлядь. Ее подавали в подливе, полученной от ее же варки, густо-желтой, как золото. С рыбою всегда неразлучны бывали маринованные, соленые и в свежем виде яблоки, огурцы, капуста, шпинат, редька, брусника, сливы, дыни, горох, клюква. На десерт гостей обновляли мороженым каштановым или померанцевым.

Во все время застолья слух наш ласкаем бывал губернаторской музыкой.

Правда, что плененные солдаты французской и шведской наций не были особенно искусными музыкантами. Они однако тщились исполнять сонеты Скарлатти, бывшего капельмейстером собора св. Петра в Риме, посвященные Марии Каземире – польской королеве в изгнании, и те сонеты были вполне узнаваемы. Иногда губернатор прерывал музыку словами: «Довольно с нас слезной иеремиады! Играй «Как во поле, во раздолье, на Буян-горе»!

От одного из этих музыкантов, бывшего прежде стражником и флейтистом при каком-то градоначальнике в отечестве своем, губернатор наслышался о домашних театрах, имевшихся у некоторых заморских господ. Для сей «благородной и полезной забавы» губернатор также пожелал устроить из крепостных людей театр, но как не мог приискать для будущих актеров учителя, то и должен был остаться при одном желании.

После кушанья устраивались игры в «веревочку», «серсо», «горелки», «царя». Большинство гостей «горелки» бесспорно предпочитались. Для этой игры становились «столбцом» по двое. Один впереди «горит» – ловит разбегающуюся врозь заднюю «чету», поймав одного, становится с ним в голову «столбца», а одинокий за него «горит». Все сие сопровождалось разговором:

- Горю, горю.
- А чего горишь?
- Девки ищу.
- Какой?
- Тебя, молодой!
- А любишь?
- Люблю.
- А черевки купишь?
- Куплю.
- А шиты башмаки?
- Куплю.
- А опахало купишь?
- Куплю.
- Прощай, дружочек, не попадайся!

Вопросы о покупках продолжались иногда очень долго. Целью их было усыпить бдительность «горевшего», ибо после «прощай, дружочек» вопрошавший срывался с места и старался не дать себя настигнуть. Здесь нередко происходило множество хитростей, направленных к тому, чтобы преследовать желанный предмет. Для того иногда одна и та же «девка» делала чудеса карьера через клумбы и пригорки, или напротив – спотыкалась, при самом начале игры. В продолжение ее разница чинов, лет, все условности общества были забываемы. Грозный окрик бригадира: «Стой, ваше пригожество», нисколько не бывал исполняем сиротою Лушей, девочкой лет четырнадцати, взятой в дом из милости и пользовавшейся особенным расположением Александры Львовны, призыв к начальнику одного из младших офицеров: «не беги меня, душа моя», сопровождался ловко ставленной подножкой. Едва командир успевал подняться, как бывал схвачен с торжествующим возгласом: «Досель Макар гряды копал, а отсель Макар в воеводы попал».

Игра в «царя» носила более суровый характер. Судьба быть жертвой ее и меня не миновала. «Царь» жаловал свою челядь: тот был «заяц», другой – «репейник», этот – «тетерев» и тому подобное. Тот кому «царь» кидал мяч старался попасть им по кому-нибудь из разбегавшихся «придворных». Если то ему удавалось он усаживался подле «царя», если же нет – получал «вину». Принесший три «вины» из игры выходил. Она продолжалась до тех пор, пока при «царе» не оставался один удачливый игрок – «хаварит». Он наказывал остальную челядь, обыкновенно ударами мячом по спине, а иногда, заставляя выполнять какие-либо необыкновенные действия, как при игре в фанты. В тот раз, как я играл в «царя», «хаварит» наказание избрал суровое – мяч заменил палкою, ибо среди «челяди» не было знатных персон, но только дворовые, младшие чины гарнизона и некоторые незначительные клиенты. Часть их уже выдержала наказание, и требовала его продолжения, часть – воспротивилась. Спор становился все жарче, как повелительный возглас губернатора «Засыпать!» повалил всех наземь. Никто не смел шевельнуться, хозяин, прохаживаясь меж игроков, поглядывал точно ли все «спят». Я не решался отогнать севшее мне на лицо насекомое – муху или пчелу, не знаю, но наконец не выдержал и мотнул головой.

– Пожалуйте, сударь, на экзекуцию!

«Челядь» повскакала на ноги и бросилась исполнять новое приказание. Мигом руки мои и ноги опутали цепи составленные из кушаков и шарфов, я был брошен «на растерзание мотыльков», а специальный страж приставлен «доглядывать чтобы злодей из желез не ушел». Свободу я обрел не раньше окончания игры.

Такие изобретательность и причуды допустимы были лишь между своими, то есть между хозяином, дворчанами его и близкими клиентами. Тут не обходилось без потешных «морских» боев с «неприятельской флотилией», причем оба флота составлялись «флагманским» яликом и двумя-тремя лодками. Потерпевших поражение немилосердно «топили», геройски «погибших» достойно «хоронили», немногих уцелевших «жаловали» и «женили». Тут и молодецкая потеха с «взятием на абордаж», и импровизированные «гиштории», и настоящий театр без сцены и декораций! Наконец хозяин признавался, что «притомился», укладывался в лодку, бережно качался в ней заботливыми руками под печальные колыбельные напевы несколько минут, вскакивал вдруг на ноги с возгласом «Долго почивать – фортуна заспать», едва не опрокинув лодку, ловким прыжком снова стоял на берегу.

Званный же вечер никогда не обходился без карт. Гости рассаживались за зеленые столы и физиогномии их принимали мыслящее выражение. Играли с большим увлечением до самого ужина. Иногда слышались возгласы, относящиеся до выпавших карт: «Шельма», «Нет уж, сударь, я имел честь покрыть вашу двойку», «Вот это убил», «Ах, опять ты, старая попадья», «Важно». Спор считался одною из приятных условностей игры. Он никогда не переходил в ссору и не покидал рамок приличия. Если же игра шла на деньги, то никакие фамильярные, буде и самые невинные, реплики не допускались. Хозяин или важный гость понтировали в не

нарушаемом молчании. Глаза и умы всех целиком погружались в драму, разворачивавшуюся на зеленом столе. Впрочем, губернатор не любил страшного «фараона», в те годы положившего не одну руку на пистолет, и не игрывал на крупное «добро». Банк его обыкновенно составлялся несколькими рублями серебра.

Разъезжались гости незаметно, не утруждая хозяина прощаниями и проводами, а благодарить за угощение являлись через день, другой, причем обыкновенно снова усаживаемы бывали за стол. Приезд же гостей имел свой чин. Лица высокого звания подъезжали прямо к крыльцу, другие – останавливались на дворе, низшие шли пешком от ворот. Губернатор, сообразуясь с чином гостя, встречал его на крыльце, в сенях, или в кабинете. В дом пробирались и такие гости, кои по докладу дворецкого «никак с крыльца взойти не осмелились и через людскую старались». Особо уважаемые лица и те, коим губернатор желал выказать приятельство, встречались у ворот – лакеем, в сенях – дворецким, в кабинет провожала их хозяйка, а губернатор выходил им навстречу, собственноручно распахнув дверь.

К числу таких желанных гостей относился генерал Матюшкин. Обыкновенно он приезжал из имения своего со всем семейством не на один день. Большая колымага и за нею несколько верховых слуг становились на дворе. Стаскивались укрепленные над каретою плоские ящики в коих хранились неизмятыми дамские платья, сундуки – с запяток. Из кареты выносились устроенные в ней погребцы, набитые доверху снедью, призванной подкреплять силы путешествующих. Люди суетились, опорожня колымагу, осторожно развертывали укутанную фарфоровую пастушку – подарок гостеприимному хозяину, стаканы для чая и рома, молочник, прочие мелочи, до чая относящиеся. Губернатор обнимал гостя на крыльце, благодаря за удовольствие совместно «размыкать скуку астраханской пеклы». Надо сказать, сей Матюшкин выказывал губернатору «истинное приятельство», помогая ему доставлять некоторые излишества, им ценимые. Заметим, что губернатор большой был любитель опрятности и требовал, чтобы комнаты его сверкали чистотою, что, конечно, доставляло людям его немало забот. От всех челядинцев требовалось три раза в неделю посещать баню, всякий день менять платье, чистить зубы меловым порошком и можжевеловыми зубочистками. Что до самого губернаторского семейства, то для него из Москвы, при участии Матюшкина, заказывались порошки и мыла итальянского дома «Марвис». Особливым желанием губернатора было «завести чугунную ванну». Специальные комнаты с такими ваннами, украшенными фарфором, были в то время знатными людьми употребляемы. Но такая вещь, по уверению Матюшкина, наведавшегося о ваннах в Казани, стоила очень дорого, и приобретение ее было отложено губернатором на неопределенный срок.

До дур, карликов и шутов, губернатор, вопреки моде своего времени, был не охотник, тешась вместо того сказаниями русской старины, былинами и чудесами, поведенными каким-нибудь забредшим в город паломником. Наибольшим расположением губернатора пользовался инвалид, употребляющий за недостатком ноги костыль, из милости принятый на службу в портовую канцелярию. Впрочем, по неграмотности он не исполнял иных работ, как очинка перьев да доставка из ближайшего трактира обеда господам канцеляристам. Кроме того, он регулярно был угощаем и одариваем самим губернатором, любовно прозвавшим его «дедушкой».

«Дедушка» ходил из Охотска на Камчатку и Курильские острова, исполняя наказ сибирского губернатора, Гагарина Матвея Петровича, среди людей «Большого Камчатского наряда», приводил в русское подданство население островов Охотского моря и иные «ясычные народы» от Колымы до Амура, плавал с первопроходцами Невицыным и Соколовым, пособлял геодезисту Гвоздеву, в отряде, состоявшем из четырех дворян, двоих боярских детей, нескольких чертежников, мореходов из Архангельска и двух десятков служилых людей принимал бой с войнами «шалацкого роду». Сколько мог понять я со слов «дедушки», то были жители чукотского полуострова, а может и японцы. Они «имели бой лучный, а смирить их не можно, ибо кого и возьмешь в полон, себя сам мертвит. А без бою опять обойтись было не можно, понеже

те шалацкие люди, оберегали проходы и по воде и по суку, и не дозволяли проведывать никому точно ли то остров, а не земляца. А как, господину капитану Абадышеву особливо за переливом земляцы искать наказано накрепко было из Санкт-Петербурга, он и домогался того перелива дойти. Там и сложил буйну голову. А и непочто – на земляце той и лесу пригодного к строению нимало не нашли. Мнилось капитану, упокой Бог душу его, великие верфи строить, каковые вы, государь мой, учредили в Астрахани для Персидского походу, и от каких ныне не токмо городу, но и всему наместничеству великая идет слава и польза по купечеству. Только в той земляце, куда мы пришли, сосна и березняк совсем оказались к корабельному делу негожи. А что до народа, то полоняники они не из важных – таковы господа, что никуды не годны, ходят в уточном платье (из кожи птиц сделанном), а вместо дров топят костями и жиром, что зело гнузно. Так и что из пустого затевать? Вот кабы в той земляце руду отыскать, так и 300 служилых людей и офицеров отрядить пристойно, а к ним и из ученых господ прибавить инженеров и геодезистов, чтобы учредить единую «генеральную карту». Не то много несуразного происходило оттого, что несколько было у нас карт, и они меж собою разнелись. Карта дворянина Львова, да «Якутская карта», да того капитана, что на «Селафаиле» командовал, да господина Козыревского карта – у меня и пальцев не достанет все карты, по которым мы ходили, поминать».

Таковыми речами занимал дедушка слух губернатора очень долго. Сам рассказчик имел за привычку увлекаться своей повестью, живописуя и перемешивая произошедшие с ним события в один сказ.

– А что, дедушка, не расскажешь ли как по якутскому указу до островов, что за Камчаткой лежат, ходил? Больно хорошо сказываешь, – говорил губернатор обыкновенно, как примечал, что гости уже мало занимаются кушаньем, но ещё не готовы приняться за кофе с вареньями и пастилами и ломбер.

– Помнишь ли, кормилец, как говорил я про японское судно, что разбило у берегов камчатских в Калигирской губе, находящейся от Апачинской губы к северу? С того судна вышло на землю десять человек, но камчадалы, неприятельски на них нападши, четырёх убили, а шестерых в полон взяли. Из сих шести человек попались четверо казакам в руки, их коих один, именем Санима, послан был в Санкт-Петербург. Они в скором времени по-русски говорить столько научились, что на предлагаемые им вопросы могли отвечать ясно.

С того момента и пошли мы на самые эти Курилы. Жители на первом острове не самые еще курилы. Настоящей курильской народ обитает на втором и прочих, далее лежащих к полудню островах. Но на Камчатке вошло в обычай называть курилами и некоторых из камчадалов, обитающих по южную сторону большой реки, хотя язык их разнствует от прочих камчадалов токмо некоторыми словами и произношением. Посреди жилищ их находящееся озеро называется Курильским, а на острове сего озера камчадальской острог стоит и назван Курильским же.

Кажется, что островные жители после бунту 1706 году хотя не все, но по большей части с матерой земли туда перешли. Успех от бою сей был, что жители реченного острова, потеряв десять человек своих в сражении и видя немалое число раненных, склонились в вечное подданство. Только не взято было с них ясаку, ибо на острове ни соболей, ни лисиц нет, также морских бобров там не промышляют, а живут только с промыслу нерпы или тюленей, и платья носят из кож нерповых и птичьих, из лебяжьих, гусиных и утячьих. Впрочем, казаки приписывали курилам великую храбрость в бою и выхваливали их паче всех народов, живущих от Анадырского острогу и по всей Камчатке.

Три курильские морские карбаса, полученные казаками в добычу у первого острова, способствовали им к переезду на другой остров, к которому они немедленно и отправились.

На другом острове, по объявлению казаков, живут люди, называемые езовитяне, то есть курилы, по японскому называнию Езо. Сии, собравшись в многолюдстве, стали при речке Ясо-

вилке вооружены и к битве готовы; казаки же за малолюдством и за оскудением порошу в бой с ними вступить не осмелились.

– А ты-то, дедушка, разве не казак? Промеж других был, и купно с прочими «не осмелился», – весело воскликнул выкрест-татарин Василий, исполняющий при губернаторе дело сокольничего и недавно жалованный чином дворецкого, с которым познакомился я в первую встречу за городской стеной.

– То верно начальство рассудило, – невозмутимо продолжал рассказчик, – дело к зиме поворачивало. Старались искать, не найдётся ли где у берегу безопасного места для судов к отстою, токмо не сыскали. Во время приливу вода там пребывает до семи и до восьми футов. Из зверей других не видали, кроме предьявленных песцов, больше голубых, нежели белых. Но шерсть у них не так мягка, как у сибирских, чему разность корму и воздуха причиною быть может.

– Куда столько льешь! – воскликнул вдруг губернатор к казачку, наполнявшему чашку любезной его Анютушуи, – вот истинно «заставь дурня Богу молиться, так тот и лоб расшибет».

– Так ведь во здравие, – оправдывался казачок, поспешно ставя молочник на место. Добрая половина жирных, подрумяненных сливок перешла из него в чашку Анютушки. Женщина, нянчившая ее, отодвинула чашку и поправила подушечку на высоком детском креслице.

– Много ты понимаешь! Разве ты лекарь? Душа моя, – обратился губернатор к жене, – который раз Анютушка жирного отведаст, ту ночь всю животом проскорбит, о чем безмерно печалюсь. Смотри же, чтобы Анютушке, ни сливок, ни масла коровьего, а паче – гусятины в вечеру не подавали. Разве русской курицы, и не много. Да прежде пусть мне поглядеть кушанье представят.

– Смотрю о том, друг мой. А на мои глаза, Анютушке за взрослым столом сидеть не годится. Она и у себя словно мышонок кушанья отведывает, а с людьми совсем развлечется.

– Как меня самого по второму году батюшка за стол саживал, так думал и с нею учинить.

Александра Львовна с живостью возразила, что дитя мужского и женского рода имеют в себе гораздо меньше родства, чем то может показаться, и от девы нельзя ждать тех же понятий, что от ее сверстника. Дочь – не сын.

– Бог даст, и оного дождусь, – заметил губернатор с улыбкой. Жена отвечала ему улыбкой же, губернатор кивнул «дедушке», и рассказ возобновился.

– Предосторожность требовала, чтоб учинить смету, сколько съестного припасу осталось и на коликое время его станет. Потому разделили порции, которые от времени до времени. Хотя ещё человек с тридцать на острове от болезней померло, порции так малы стали, что нельзя бы было никому оными прожить, ежели бы недостаток мясом морских зверей не награждён был. Муки двадцать пудов оставлено для будущего пути, когда щастие послужит приготовить новое судно к возвращению на Камчатку. В сем случае никакого преимущества наблюдаемо не было. Офицеры и рядовые получали по равной порции. Все ели вместе, которые в одной яме жили, понеже от холоду выкопали мы себе ямы. Кажется, что состояние натуральной свободы и равенства тут восстановлено было. Того ради и не можно было вести по регулам команды, ибо по смерти капитана-командора, хотя лейтенант Ваксель оную и принял, однако не имел никакого штрафовать. Опасался он, чтоб за то ему отмщено не было, понеже от злой такой жизни все в великое пришли ожесточение.

Что надлежит до морских зверей, коими наши питались, то сперва употребляемы были к тому выше помянутые бобры, но мясо их, а особливо самцовое весьма жестко и вязко, как кожа, так что едва жевать его можно. Чего ради принуждены были резать оно мелкими кусками, кои не жевав глотали. В бобре одного мяса без костей фунтов с пятьдесят, требушиною и кишками. Сим большей частью больных кормили. Мясо оно является лекарственным от цин-

готной болезни, утверждают, якобы больные от одного выздоровели. Но сколько же больных, кои также ели мясо, умерло?

Болезнь продолжалась немалое время, и потому выздоровление от ней можно причитать и другим причинам. Били множество бобров и не для употребления их в пищу, но также ради изрядной их шерсти, ибо китайцы на границе при Кяхте каждого бобра по 80 и по 100 рублей покупают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.